

Иосиф Циммерманн

# Илек помнит всё

СТАНЦИЯ  
АККЕМИР



Иосиф Циммерманн  
**Илек помнит всё Часть 1**

«Автор»

2026

## **Циммерманн И. А.**

Илек помнит всё Часть 1 / И. А. Циммерманн — «Автор», 2026

Наше повествование — это своего рода семейный альбом, только не одной семьи, а целого уголка Казахстана. На его страницах оживает история совхоза «Пролетарский» и его сел — Аккемира, Золотоноши, Леваневского, Шевченко, Востока, Жарыка, а также менее известных разъездов железной дороги, проходящей через эти места. Эта книга — плод совместного труда. Здесь нет вымысла одного автора. В ее основе — воспоминания и рассказы земляков, фотографии из семейных архивов, крупинцы информации, собранные в долгих переписках и беседах. Люди делились тем, что дорого их сердцу, а значит — истинным, подлинным.

© Циммерманн И. А., 2026

© Автор, 2026

# Иосиф Циммерманн

## Илек помнит всё Часть 1

### Пролог

Илек помнит всё. Эти слова — не просто название книги, но и суть задуманного труда. Память — самое драгоценное, что остается после нас. Она хранит голоса ушедших поколений, их радости и испытания, заботы и надежды. Она связывает живых с теми, кого уже нет, и напоминает: без прошлого нет будущего.

Наше повествование — это своего рода семейный альбом, только не одной семьи, а целого уголка Казахстана. На его страницах оживает история совхоза «Пролетарский» и его сел — Аккемира, Золотоноши, Леваневского, Шевченко, Востока, Жарыка, а также менее известных разъездов железной дороги, проходящей через эти места. Эта книга — плод совместного труда. Здесь нет вымысла одного автора. В ее основе — воспоминания и рассказы земляков, фотографии из семейных архивов, крупицы информации, собранные в долгих переписках и беседах. Люди делились тем, что дорого их сердцу, а значит — истинным, подлинным.

Мы вместе написали эту летопись. Пусть «Илек помнит всё» станет мостом между поколениями — для детей и внуков, которым важно знать, откуда они родом. Пока мы храним память — мы живы.

### об авторе

Иосиф Антонович Циммерманн — писатель, работающий на стыке документальной прозы, семейной хроники и литературного свидетельства. В центре его внимания — судьба человека в переломные исторические моменты, автобиографическая память, история малых мест и нравственный выбор персонажей.

Его проза сдержанна и кинематографична, основана на живых деталях и личном опыте, но выходит за пределы частной истории, становясь разговором о времени и ответственности перед обществом.

Очерки Иосифа Циммерманна объединены общим замыслом — монументальным произведением о родине, о земле и людях совхоза «Пролетарский», создаваемым под общим названием «Илек помнит всё».



*Иосиф Антонович Циммерманн*

Предисловие

Скорее всего, этот незначимый степной уголок никогда бы не получил своего названия и отметки на географических картах. Остался бы безымянным местом, куда кочевники по летнему зною пригоняли свой скот на водопой, а в суровые зимы опускались в низину реки, пряча свои табуны, стада и отары под защитой береговых круч от яростных буранов. Такие зимовки — у казахов их зовут кыстау — знала каждая река и каждый род. Их было бесчисленное множество вдоль больших и малых рек, у любого водоема — временные пристанища кочевой жизни.

Но этому кыстау судьба отвела иную стезю. Белые обрывы, тихий плеск воды, степная тишина — все это однажды оказалось на пути железной дороги, соединившей столицу империи Москву с далеким южным Ташкентом. Это место, с изначально неправильным названием Аккемир, исправленным почти через сто лет на казахское Ақкемер, стало звеном великого пути...



Никто не знает, что было первым: поселение или железнодорожная станция с названием Аккемир. Нет в живых очевидцев давно прошедших лет. Самое раннее упоминание об этих местах в архивных казначейских журналах датировано 1906 годом. Черными чернилами, на пожелтевшей от времени бумаге красивым почерком коллежского регистратора канцелярии управления Ташкентской железной дороги внесен лишь краткий перечень строений железнодорожной станции из жженого красного кирпича: здание вокзала, дом управляющего, две десятиметровые водонапорные башни, женское и мужское отхожее место. Сбоку на полях этого же документа совсем другими чернилами сделана приписка: две полуземлянки из сланца и три юрты кочевников.

Учетчик почему-то не указал в описи расположенное вблизи древнее кладбище мусульман. А карасайское кладбище - зират невозможно было не заметить: многогранные каменные стелы кулпытасов, мемориальные ограды торткулаков и высокие купола надгробий - кумбезов виднелись издали. Место вечного упокоения точно было здесь раньше и аула, и станции.

Захоронения кочевников продуманно располагаются на возвышенности и обязательно вблизи пусть хоть маленького, но источника воды. Потому заблудившийся в знойной, раскаленной от солнца степи умирающий от жажды путник, завидев еще издали приметные высокие контуры бейит (могил), понимал, что спасение рядом. Там есть вода.

Вблизи того самого кладбища, которое оказалось не упомянуто в казначейских списках, из-под земли били многочисленные родники. В этих краях берет свое начало одна из рек северо-западного Казахстана – Илек. Отсюда живительная влага течет по естественному руслу с отвесными берегами, меняя свою ширину от пары метров в верхнем до ста пятидесяти метров в среднем течении. Ей предстоит преодолеть более шестисот километров сквозь невысокие каменные гряды Мугоджарского массива, оставляя на своем пути пойму, изобилующую многочисленными протоками и озерами, прежде чем Илек как самый крупный приток сольется с великим Уралом.

Обычно к середине лета палящее солнце до последней травинки выжигало в округе степь. А долина реки продолжала зеленеть оазисом жизни: готовая утолить жажду, подарить прохладу и накормить как людей, так и их многочисленный скот.

Крутые части берегов Илека то там, то здесь порой до нескольких сотен метров в длину украшают толстые пласты белого известняка. Редкие дожди, а чаще весенние талые воды периодически смывают его запыленные верхние слои.

– Ақ кемер (белый пояс – в переводе с тюркского), – говорили пригнавшие из степи свой скот на водопой кочевники, глядя из-под ладони на череду круч, до боли в глазах сияющих на солнце своей белизной. Остается спорным, что появилось раньше: поселок Аккемир или железнодорожная станция Аккемир. А в том, что их наименования уже не походили на тюркское слово «Ақ кемер», можно смело винить все того же бестолкового царского чиновника, который названия нового населенного пункта великой российской империи записал так, как ему слышалось...



*В полдень время замедляет темп, тянется неторопливо, наподобие реки Илек в разгар лета. Известняковый берег — почти молочный, нагретый солнцем. В выступах кручи чувствуется сухой запах — пыль, трава, прогретая глина. Вдоль берега тянутся заросли ивы, чьи гибкие ветви склоняются к воде. Листву слегка шевелит ветер, и в этом шелесте углубляется прохлада реки. Ива — словно граница между жаром степи и живой влагой: за ней начинается другая температура, другое дыхание.*

*А дальше — степь, молча наблюдающая за происходящим у реки: она уходит вглубь, ровная и спокойная, с приглушенными зелено-бурыми оттенками.*

*Люди здесь гости. Временное.*

*Солнце уже прошло зенит, и свет стал мягче, глубже, теплее — не ослепляющим, а обволакивающим. Небо высокое, вымытое, с редкими белыми облаками, которые лениво плывут, не обещая смены погоды. В этом пейзаже все в равновесии.*

*Полуденный час — не начало и не конец, а полнота дня, его спокойная середина, когда кажется, что лето будет длиться вечно, а степь, река и небо уже давно заключили между собой вечный мир.*

*У истока*

С высоты орлиного полета можно было видеть, как покрытую толстым слоем снега Мугалжарскую равнину пересекала витиеватая трещина — это была низина русла реки Елек. Извиваясь среди степи, она разрывала белоснежный покров, словно тонкая, но уверенная линия кисти художника. Местами по ее берегам ярко высвечивались желтые песчаные обрывы, добавляя контраст в монохром зимнего пейзажа. А известняковые кручи, напротив, сливались с бескрайним снежным ковром, становясь почти неразличимыми в этом безмолвном царстве холода.

Елек — название реки, которое с казахского переводится как «косуля». Когда-то их здесь водилось великое множество, словно сама природа выбрала это место для их грациозной жизни. Эта степная река с давних пор была неотъемлемой частью местного ландшафта. Ее русло, то бурное и неукротимое, то лениво и размеренно текущее, словно дышало в унисон со степью, напоминая, что и под снежным саваном затаилась жизнь, готовая пробудиться с первым весенним теплом.

На исходе ясной и безветренной ночи легкий налет из мелких кристалликов инея окутал стволы прибрежных ив. Изморозь, словно тончайшая вуаль, обволокла ветви деревьев и чернотала, кругловатые прутки камыша и длинные, сухие листья рогозы. Даже их обычно темно-бурые початки теперь казались украшенными мягким белым мхом. Мороз последних дней еще больше выбелил и без того серебристые метелки тростника, придав им вид хрупких снежных украшений. На кустарниках вдоль берега, словно пушистые гирлянды, свисали паутинки, застывшие в изморози — остатки ушедшего бабьего лета.

Все вокруг было окутано непорочной белизной и дышало зимним очарованием. Лишь местами среди этого царства чистоты виднелись темные, зеркальные пятна воды — незамерзшие лужайки реки, где из-под земли пробивались мощные родники, напоминая о том, что даже в самое лютую стужу природа не замирает полностью.

В какой-то момент у прибрежных зарослей мелькнула серая тень. Изящное бурое животное с коротким белым хвостом осторожно вышло из густых зарослей, оставляя за собой глубокие отпечатки копыт в мягком снежном покрове. Косуля приблизилась к кромке блестящего льда, ее движения были грациозны, словно выверены природой до мельчайших деталей. Она замерла, настороженно вскинув голову, осматриваясь: взгляд в одну сторону, затем в другую, и снова короткое оглядывание назад.

Охотник, притаившийся неподалеку, слегка улыбнулся краем губ. Он знал, что косули видят мир не глазами, а ушами и носом. Их обоняние и слух безупречны, но зрение оставляет желать лучшего. Самец, не почуяв опасности, уверенно нагнулся к воде и начал пить. Его креп-

кие, уже хорошо развитые рога, с двойным разветвлением и начинающимся сгибом внутрь, говорили о возрасте — этому дикому козлу, как их еще называют, было больше двух лет.

Существует негласное правило: стрелять в молодых животных нельзя. Их рога еще недостаточно красивы и рельефны, отсутствует тот идеальный изгиб, придающий им форму лиры, так ценимой среди охотников. Да и мясо у молодняка не обладает тем насыщенным вкусом, который ожидается от зрелого трофея.

Мир вокруг застыл в утренней тишине, лишь косуля, склонив голову, пила воду, не подозревая, что ее невидимый наблюдатель уже принял решение.

Охотника и дичь разделяло сейчас примерно сто метров. Мужчина даже перестал дышать, словно весь окружающий мир замер вместе с ним. Мускулы его тела натянулись, как стальные струны, а прицельный глаз, казалось, видел и дальше, и четче, чем обычно. Внутри разгоралось свойственное охотнику непреодолимое желание: не упустить добычу и попасть наверняка.

Подняв мушку на уровень спины зверя, он полузамерзшим пальцем осторожно и плавно начал нажимать на курок.

Тишину рассек оглушительный выстрел. Самец косули рухнул на землю, словно подкошенный, лишь раз успев издать низкий, свистящий рев — последний сигнал тревоги, предупреждающий сородичей об опасности. Охотник замер, ожидая, что вот-вот из зарослей с треском и шелестом ринется врассыпную стадо — несколько самок и молодняк, обычно сопровождающих старшего козла.

Однако ничего не произошло. Пространство вокруг застыло в настороженном молчании. Лишь с прибрежных ив, сбивая облака белой изморози, с гулким карканьем поднялась черная стая воронья, добавляя происходящему зловещую атмосферу.

В тот же миг яркий луч солнца, вынырнувшего из-за кромки высокой известняковой кручи на противоположном берегу, пронзил глаза охотника, заставив его зажмуриться. Когда же он открыл глаза, пейзаж перед ним изменился до неузнаваемости. Резкие контуры и темные линии прибрежных зарослей исчезли, растворившись в безграничном ослепительном белом свете, в котором даже тень казалась недостижимой.

Мгновение назад ястребиный взор охотника без труда улавливал каждую мелочь — извилистую ветку, едва заметную тропинку копыт на снегу, тонкую игру теней в прибрежных кустах. Теперь же, по воле природы, все слилось в одно сплошное сияние.

«До чего же роковым может быть одно мгновение, лишь крошечный шаг минутной стрелки.» — подумал он, сдерживая вздох. Медленно поднявшись из своего укрытия на краю песчаного обрыва, местный бай Баймухамбет Шукенов позволил себе мимолетный взгляд на горизонт, прежде чем вновь обратить внимание на добычу.

Первым делом он поправил сдвинувшийся на макушку рыжий лисий малахай и стряхнул с груди и локтей полушубка из белой овечьей шкуры налипшую смесь снега и песка. Затем он затянул крепче ремень из прочной дубленой кожи с орнаментом и металлической бляхой и с недовольством отметил грязные пятна на коленях светлых шаровар, усиленных клиньями из овчины между ног. Закинув ружье через плечо, охотник начал спускаться в низину реки, умело балансируя на крутом склоне и притормаживая шаги в валенках в калошах, которые казахи называют байпаками.

Обегая проталины, где прозрачные родниковые воды подтачивали лед, Баймухамбет осторожно приблизился к павшему животному. Стройный самец косули лежал неподвижно, словно сливаясь с белизной снега, который теперь украшали тонкие бисерные капли крови, раскинувшиеся веером вокруг.

Присев рядом, охотник провел рукой по короткому темному меху спины, чуть поблескивающему буроватым оттенком. Мягкий переход оттенков на боках — от серого с кремовым до почти белоснежного на брюхе — завораживал, напоминая о естественной гармонии дикой

природы. Баймухамбет осторожно прикоснулся к широким, густо поросшим волосками ушам, изучил покрытые бугристыми наростами рога, свидетельствующие о возрасте и достоинстве животного.

Его пальцы нежно накрыли широко раскрытые агатовые глаза косули, обрамленные длинными густыми ресницами, словно стремясь дать ей последний покой. Шепотом он произнес слова прощения, обращенные к повелителю всех живых существ, обещая, что этот дар природы будет использован мудро и с благодарностью.

Завершив молитву, Баймухамбет провел сухими ладонями по лицу, словно запечатывая слова благодарности и прощения. Затем он резко поднес пальцы ко рту и оглушительно свистнул, так громко, что эхо прокатилось над заснеженной равниной.

На вершине песчаного обрыва, где охотник недавно прятался в ожидании дичи, появился гнедой жеребец. Его бурый окрас казался насыщенным и глубоким благодаря густым черным волосам, особенно заметным на голове, шее и верхней части ног. С каждым его движением густая, смолисто-черная грива развевалась в воздухе, будто языки пламени. Из широких ноздрей вырывались клубы пара, создавая иллюзию, что конь буквально источает жар.

– Не конь, а огонь! – с неподдельным восхищением воскликнул Баймухамбет, с гордостью любуясь своим верным спутником.

Следом за гнедым жеребцом, у края обрыва появились две фигуры всадников. Не теряя времени, они спешили и осторожно начали спускаться по отвесному склону, стараясь не отставать от уверенного и стремительного хода коня, который первым ринулся к своему хозяину.

– Боран! – громко окликнул Шукенов своего верного спутника, коня, которого он сам вырастил и обучил. Имя жеребца в переводе означало «Буран» или «Метель», что идеально подходило для его неукротимого характера и бурного темперамента..

Сердце бая наполнилось гордостью, когда он увидел, как Боран, не обращая внимания на крутизну склона, уверенно преодолевает путь вниз, опережая людей. В это мгновение перед глазами хозяина мелькнуло воспоминание о том, как весной тот же жеребец, поддавшись природному зову, почувствовал кобылу на течке. Тогда Боран, полностью подчинившись животному инстинкту, умчался прочь, не обращая внимания на команды. Шукенову пришлось проехать не одну сотню верст, чтобы догнать беглеца.

– Скалолаз! – с неподдельной гордостью воскликнул бай, легко усаживаясь в седло. Он гладил Борана по развевающейся смолистой гриве, и от этой похвалы конь, казалось, становился еще бодрее, гордо фыркая и бросая вызов морозному утру.

Слуги, не теряя времени, осторожно подняли тело самца косули и ловко закрепили его на холке байского скакуна. Боран стоял спокойно, словно понимая важность момента, лишь слегка поводя ушами и выпуская облака пара из ноздрей.

Шукенов, оседлавший своего гнедого жеребца, подал знак, и трое всадников двинулись рысцой в западном направлении. Их силуэты постепенно растворялись в бескрайней белизне зимней степи, а ритмичное постукивание копыт уносилось эхом далеко за пределы извилистой долины Елека.

Уже через несколько минут Баймухамбет ощутил, как холод пробирается под одежду, а по телу разливается странная, будто бы нелепая усталость. Это было знакомое чувство, которое всегда наступало после удачной охоты: вслед за изнуряющим напряжением ожидания, когда каждая клетка тела была собрана в единый нерв, приходило полное опустошение. Потраченные силы и энергия словно покидали его разом, оставляя тело вялым и тяжелым, будто наполненным мягким сеном.

Бай уже заранее предчувствовал, что дома его ожидает очередной спор с молодой женой. Абыз, дочь великого султана Арынгазиева, владыки обширных земель Актобе, одного из бога-

тейших и влиятельных представителей табынского рода казахского младшего жуза, всегда устраивала сцены, когда он возвращался с охоты.

Ее раздражение было вполне объяснимо. Совсем недавно она подарила ему наследника, и ей естественно хотелось, чтобы супруг чаще находился рядом, уделял время семье, а не отправлялся в очередную ночную охоту, отлучаясь каждые несколько дней, даже зимой.

Грех было даже допустить мысль, что Баймухамбет увлекался охотой, чтобы избежать общения с супругой, которая могла бы ему наскучить. Напротив, своими охотничьими трофеями он стремился еще больше понравиться Абыз, доказать ей свою силу, мужество и достоинство. Каждый раз, бросая к ее ногам подстреленное животное, Баймухамбет словно вновь и вновь клялся в своей любви.

Ему было неважно, что прекрасная Абыз частенько его укоряла. Бай-то хорошо замечал, с каким удовольствием она копалась в своих сундуках, переполненных мехами и кожей. Да и как всем женщинам, ей нравились красивые вещи, которые муж добывал ради нее.

Абыз знала о безграничной любви своего Баймухамбета. Именно эта уверенность делала ее ненасытной в желаниях разделить с ним каждое мгновение. Поэтому она так тяжело переносила их разлуки, особенно частые зимние ночные охоты.

Заставить Баймухамбета остаться дома Абыз могла бы легко — достаточно было одного намека на ее высокое происхождение. Земли, где ныне проживал род Шукеновых, принадлежали именно ей. Благодатные пастбища вдоль родниковой реки Елек были частью приданого, которое Абыз привнесла в их союз. Однако любящая супруга никогда бы не унизила своего мужа, напоминая ему о своем знатном роде или о богатстве, которое она принесла в их семью.

Ей и в мыслях не было воспользоваться этим преимуществом. Она считала это недостойным и даже боялась нечаянно задеть его гордость. Единственное, что она позволяла себе — легкий, почти невесомый упрек. С укоризной глядя Баймухамбету в глаза, Абыз могла чисто по-женски, тихо, но с чувством произнести:

— Тебе что, дома мяса не хватает?

А за охоту на косуль Абыз особенно не щадила мужа упреками:

— Мало тебе других зверей! Косуль теперь днем с огнем не сыщешь. А все потому, что станицы новороссов, словно шарики козьего помета, заполонили берега нашей реки и пугают этих грациозных животных. А ты, вместо того чтобы их пожалеть, еще и последних добиваешь. Если так пойдет дальше, косули совсем исчезнут, и тогда реку Елек придется переименовывать...

Охотник нежно провел рукой по мягкому меху косули, покоящейся на его седле, и мысленно прикинул, как ему в этот раз придется оправдываться перед Абыз:

— Мне, действительно, некуда было деваться, — начал он в своем воображении. — Я ждал лисицу или хотя бы степного зайца, но тут прямо в дуло мне вышел этот самец. Разве я мог упустить такую добычу? Зато теперь у тебя будут лучшие в округе замшевые сапожки из шкуры елика с берегов Елека. И все это потому, что я люблю тебя и ты моя единственная, навсегда.

Эти мысли, пронизанные любовью и теплом, будто обволокли его, отогревая изнутри. Мороз больше не казался таким суровым, а путь — таким долгим. Вскоре на возвышенности, недалеко от каменного кладбища, показались несколько серых юрт и две полуземлянки, сложенные из сланца.

У входа в одну из полуземлянок, что была крупнее и длиннее остальных, Баймухамбета поджидала Абыз. На ее голове высоко возвышался белый тюрбан, словно венец, подчеркивающий ее гордую осанку и благородство. Едва заметив супруга, она стремительно схватилась за уздечку его коня, останавливая животное.

Баймухамбет, уже внутренне готовый к очередной дискуссии, ловко спрыгнул с седла. Подойдя ближе, он нежно положил обе руки на плечи Абыз, пытаясь прочесть на ее лице настроение. Но взгляд супруги был озабоченным, что тут же насторожило его.

– Что случилось? – хотел спросить он, но Абыз опередила его. Она кивнула в сторону дверей:

– Пошли в дом, тебя там ждут!

В ее голосе звучала сдержанная тревога, которая лишь усилила напряжение в душе охотника.

Знал бы бай, что черные вороны, которых он на заре спугнул своим выстрелом, уже накаркали им беду.

– Кого это в столь ранний час принесло? – тихо спросил он, заглядывая в глаза Абыз, словно надеясь, что она скажет, что все в порядке.

– Двое посыльных из Актобе, – ответила она с заметной долей напряжения. – Русский офицер и его переводчик.

В натопленной комнате возле казана копошились две служанки. У входа, где обычно сидит прислуга, сейчас пили чай незваные гости. Низкорослый казах, одетый в пехотную шинель из грубого серо-коричневого сукна и без знаков различия, сразу же вскочил, с подобострастной льстивостью приветствуя хозяина дома. Представился он сыном семьи Исенгалиевых. В его треснутом пенсне и до блеска начищенных плоских медных пуговицах сейчас отражался свет керосиновых ламп жилища.

Русский офицер, явно нижнего ранга, как бы извиняясь за столь раннее и вероломное вторжение, сначала судорожно отставил в сторону чашку, но, видимо, вспомнив о цели своего визита и осознав свою значимость в данный момент, лишь слегка приподнялся и небрежно кивнул головой. Он снова удобно сел и продолжил прихлебывать чай.

– Уважаемый мырза, – сообщил переводчик, – нам приказано вам лично передать указ русского министерства.

Слово мырза, что на казахском языке означает «господин» или «знатный человек», было обращением, подчеркивающим высокий статус Баймухамбета. Официальный тон переводчика звучал подчеркнуто уважительно, но в нем все же сквозила нотка напряжения.

Прислуга помогла баю снять полушубок и байпаки. Абыз было предложила супругу надеть маси – тонкие кожаные сапожки, традиционную обувь, которая носится для тепла и удобства внутри дома. Но Баймухамбет отказался и, оставшись в войлочных чулках до колен, взобрался на невысокие нары, занимавшие все оставшееся пространство комнаты и покрытые дорогим ковром.

Он прошел в правый угол дома и заглянул в детский бесик, сплетенный из прутьев таволги. Колыбель, наполовину накрытая по традиции семью символическими вещами: чапаном, полушубком из бараньей шкуры, меховой шубой, уздечкой, камчой и специальной накидкой, хранила их первенца. Заглянув в лицо мирно спящего младенца, Баймухамбет наклонился над бесиком и со словами «Элди-элди» (баю-бай), шепотом убаюкивая сына, поцеловал его в лобик.

Почему-то взгляд его задержался на одной из многочисленных сабель, украшающих стену. Рука сама собой потянулась поправить оружие, словно от его точного положения зависел порядок в доме. Лишь убедившись, что все на своем месте, бай уселся во главе низкого столика, подогнув ноги калачиком.

Его поведение могло показаться надменным. Он будто бы не замечал и не слышал послов. На скулах русского офицера начали судорожно подергиваться мышцы от явного раздражения.

Абыз, стараясь смягчить напряжение, преподнесла супругу пиалу с чаем. Она прекрасно понимала: за этой кажущейся безразличностью бай скрывает свои растерянность и размышления. Он внимательно оценивает ситуацию, обдумывает возможные шаги и готовит достойный ответ.

Баймухамбет неспешно, почти с вызовом, еще раз осмотрел бедный, явно чужой, полувоенный наряд переводчика. Затем смачно отхлебнул горячий, душистый чай и, отведя взгляд на гостя, коротко бросил:

– Что ты сказал?

Желая заручиться поддержкой, переводчик бросил тревожный взгляд на офицера, а затем, скрепя зубами и сдерживая раздражение, вновь обратился к баю:

– Нам приказано вам лично передать указ русского министерства.

Баймухамбет внимательно посмотрел на гостя и спокойно, но с заметной строгостью произнес:

– Я думаю, ты не забыл традиции нашего народа: за хорошую новость тебе сүйінші (подарок за радостное известие) полагается, а вот за плохую и головы лишить могут.

– А я-то что? – растерянно пробормотал Исенгалиев, чувствуя, как к горлу подступает ком. – Я всего лишь переводчик.

В этот момент отворились двери полуземлянки, и в комнату вошли родственники бая. Оказывается, Абыз, предчувствуя неладное, послала за ними гонцов. Она сочла это необходимым — нечасто, а точнее, никогда, женщина не могла припомнить появления русских офицеров в их краях.



Хозяин дома удивился неожиданному визиту родных, но быстро сориентировался. Он посмотрел в сторону супруги и благодарно кивнул.

Два родных брата Баймухамбета, которые зимовали со своими семьями и скотом недалеко вверх по течению реки, привычно заняли места по правую руку от бая.

Бай Азамат, дядя хозяина, со своими сыновьями расположился у левой стены. Вместо приветствия он ворчливо бросил:

– Надеюсь, что встреча действительно очень важная. Впервые в жизни я прервал утренний намаз, и мы гнали лошадей десять верст галопом.

– Сейчас это узнаем, – Баймухамбет одним глотком допил чай из своей пиалы и, обратившись к царским посланникам, сурово добавил: – Чует мое сердце, что ваша новость не из хороших. Говорите, раз уж пришли!

Исенгалиев перевел на русский. Офицер встал, оправился и неторопливо достал из полевой сумки свиток с огромной сургучной печатью. Демонстративно, чтобы видели все собравшиеся, сорвал ее, развернул документ и стал читать:

– На основании высочайшего указа Его Императорского Величества о крестьянском землевладении, повелеваем, – офицер остановился, давая переводчику возможность довести важность послания до байской семьи на казахском языке и лишь потом продолжил. – Учитывая, что основным видом хозяйствования казахского и киргизского населения является скотоводство и они ведут кочевой образ жизни, все плодородные земли вблизи рек и водоемов передать в переселенческий фонд и за счет этих земель обеспечить освободившихся от крепостничества крестьян наделами.

Его слова, как будто удар молота, раскололи тишину, заставив присутствующих обменяться настороженными взглядами.

Исенгалиев, переводя, понизил голос, словно пытаясь смягчить сказанное. Но даже в его спокойных интонациях ощущалась тревога.

Баймухамбет сидел неподвижно, не сводя взгляда с офицера. На его лице не дрогнул ни один мускул, но в глазах затаилась едва уловимая смесь ярости и отчаяния. Абыз, стоявшая за его спиной, крепче сжала край своей шали, пытаясь не выдать волнения.

Внезапно он, нахмурившись, пробасил:

– Значит, наши земли решено отдать? И кто решил?

Слова прервали молчание, и все взгляды устремились на офицера.

– Как это понимать? – до бая начинала доходить трагичность происходящего. – Вы хотите поселить на нашем кыстау русских переселенцев?

– Царский указ, – промямлил переводчик, – мы всего лишь глашатаи.

– Здесь наши земли! – вскакивая с места, яростно выкрикнул младший брат бая. – Мы их не отдадим!

– Да это настоящий грабеж, – возмутился дядя Азамат.

Баймухамбет резко поднял руку, призывая родственников к тишине. Его взгляд обжигал, заставляя младшего брата и Азамата умолкнуть. Он повернулся к переводчику и холодно, но сдержанно произнес:

– Скажи своему офицеру, что закон должен быть справедливым. Здесь живут мои люди, их предки веками оберегали эти земли.

Офицер потребовал, чтобы Исенгалиев ему перевел, что говорят казахи.

– Возмущаются, – пожал плечами переводчик и от себя снисходительно добавил, – дикий народ, им буква закона ничего не значит.

Неожиданно бай встал и быстро подошел к переводчику. Схватил его за грудки, да так, что у того слетело и повисло на прикрепленной к одежде веревочке пенсне, и прямо смотря тому в глаза со змеиным шипеньем на чистом русском произнес:

– Если ты еще раз откроешь свой поганый рот, то я тебе лично голову оторву. Знай свое место, прихвостень!

Лицо Исенгалиева стало белее снега. Он скукожился и, казалось, что даже мгновенно потерял в росте. От страха у него подогнулись коленки. Переводчик был в шоке. Откуда было ему знать, что дед бая по материнской линии, местный проповедник ислама Мендыкулов не только сам слыл ученым человеком, но и дал хорошее образование всем своим детям и внукам. В том числе обучал их и русскому языку.

В комнате повисла тишина, наполненная напряжением, словно воздух стал тяжелым, как густой туман. Родственники бая замерли, понимая, что он находится на грани ярости, но осознавая, что его гнев был справедлив. Даже офицер, почувствовав перемену в атмосфере, напрягся и, хоть внешне старался держаться хладнокровно, краем глаза следил за каждым движением Баймухамбета.

Исенгалиев беспомощно хлопал глазами, стараясь найти хоть какой-то взгляд поддержки, но никто в комнате не выказал ему сочувствия. Баймухамбет отпустил переводчика так резко, что тот чуть не упал, и, продолжая сверлить его взглядом, с горькой усмешкой сказал:

– Ты думаешь, что они тебя оценят? Что дадут тебе место рядом с собой за столом? Ты для них никто. Ты сам отказался от своего народа ради тех, кто тебя презирает.

Затем бай повернулся к офицеру, выхватил из его рук свиток и произнес с ледяной спокойностью:

– Ваше дело передать указ, а наше — решать, как с ним поступить. Вы можете доложить своему начальству, что Баймухамбет Шукенов, владелец этих земель, будет защищать их до последнего.

Офицер оторопел, явно не ожидая услышать столь уверенную речь на своем языке. Он медленно сел обратно за стол, пристально наблюдая за баем, пытаясь осмыслить услышанное. Баймухамбет же вернулся на свое место, сел, выпрямился и жестом позвал Абыз, чтобы она снова подала ему чай.

– Мы еще посмотрим, чей закон сильнее, – тихо добавил он, снова обращаясь к офицеру, но уже с едва заметной улыбкой, в которой сквозила не столько угроза, сколько вызов.

Офицер уселся, все еще в некотором замешательстве, но его мысли продолжали блуждать. Он пытался угадать, как это все закончится, и зачем ему вообще было сюда приезжать. Вообще-то, у него была еще одна миссия, более важная, чем передача указа — выяснить, не решат ли местные люди сопротивляться, а если решат, то как именно. Но для этого ему нужно было не только выдержать этот момент, но и обеспечить свою безопасность, а также найти способ вернуться без потерь.

«Оно и понятно, – рассуждал про себя служащий, – неблагодарная у меня миссия – сообщать местным жителям о том, что их исконные земли переходят в собственность русских переселенцев. Благо, я не какой-нибудь там киргиз, а то давно бы за такие новости не сносить мне головы».

В его глазах мелькала усталость, но наружность офицера оставалась непоколебимой, как будто он полностью контролировал ситуацию.

Баймухамбет продолжил громко читать царское уведомление, в котором роду Шукеновых предписывалось переселиться в степи Шубар-Кудука. В ответ на прочитанное, из угла комнаты донеслись испуганные крики женского рода. Абыз, стоя с побелевшим лицом, прикрыла рот рукой, произнося слова на казахском языке, полные ужаса.

– Ит олген жер! – вскрикнула она, в ее голосе звучала паника. Перевод этого выражения был ясен – «там, где собаки вымерли», что в данном контексте означало безжизненную, бесплодную землю.

– Барса келмес! – добавила она, а это означало «пойти и не вернуться». Это выражение тоже несла в себе страшное предчувствие — смерть или исчезновение без следа.

От этих слов в доме воцарилась напряженная тишина. Младенец в колыбели, испуганный тревожными звуками, проснулся и начал плакать, добавляя в этот момент еще больше драматизма происходящему.

– Султаны Арынгазиевы уже откочевали на территорию Уральской волости, – продолжил русский офицер, стараясь подчеркнуть важность своих слов. – И вам советовали не противиться.

Семья замолчала, а все взгляды немедленно обратились к переводчику, пытаясь осмыслить услышанное.

– И что, так без боя и сдались? – спросил Баймухамбет, его голос звучал сдержанно, но в нем явно проскальзывал скрытый гнев.

– В гарнизон дополнительно прибыло две сотни оренбургских казаков и рота стрелков, – ответил переводчик, разведя руками.

– Я же вам говорил, что врут землемеры, – произнес дядя Азамат, обращаясь к родственникам. – Никакой железной дороги здесь строить не будут. Царские казначеи подсчитывали, сколько наших владений можно отобрать!

Пришла весна. Шукеновы надеялись, что русские власти про них забыли. Они, как обычно, со всем скотом откочевали в глубь степи и расположились на летнем пастбище вблизи родников речушки Уш карасу. Но байскую семью и там нашли.

В один из майских дней с запада к их аулу приблизился кавалерийский взвод казаков. На сборы отвели сутки. Потом, правда, еще одни добавили. Собирать-то было что зажиточному роду Шукеновых. Под присмотром казаков семья погрузила на арбы с огромными колесами, запряженные одnogорбыми бактрианами, свои юрты и домашнюю утварь, собрали и пригнали в низину многоголовые отары, стада и табуны. Совершив молитвенный обряд, огромный караван изгнанников широким фронтом двинулся в путь.

Через двадцать верст они достигли реки Елек и переправились через нее, затем, поднявшись на высокий берег, резко повернули на юг. По правую сторону от них остались дома их зимника и большое кладбище карасайцев. Казаки не позволили каравану здесь задержаться. Лишь только бай с супругой смогли проститься с усопшими предками. Баймухамбет, сидя на корточках, читал суры из Корана. Двое кавалеристов с высоты оседланных коней с интересом наблюдали, как Абыз засовывала между камнями надгробий горсти монет, завязанные в белые лоскутки ткани.

– Че это она там делает? – поинтересовался один из казаков.

– Это у них такой обычай. Называется садака – типа подаяний нищим.

– На кладбище?

– Да. Это когда благотворительность завернута в достоинство. У киргизов даже самые нуждающиеся не станут открыто и прилюдно кланчить милостыню. Зато знают, где, не стесняясь чужих глаз, можно найти помощь.

– На обратном пути нам стоит здесь на привал остановиться, – заговорщически подмигнул один другому.

Завершив свой молебен, бай Шукенов поднялся с корточек и, повернувшись в сторону реки, раскинул на высоте плеч руки и громко, как заклинание, прокричал:

– Кеш мені, асыраушым, қасиетті Елегім, айыпқа бұйырма! Мен оралам, міндетті түрде, оралам! Сенін жағалауынды мыңдаған ан-құсқа толтырамын, Ант етемін! – (Не осуждай меня, моя кормилица, мой святой Елек! Я вернусь, обязательно вернусь! Я вновь заполню твой берег тысячами животными. Клянусь!)

Эти слова разнеслись эхом, наполняя воздух древней, обетованной силой. Наполненные болью и надеждой, они перекатывались над рекой и растворялись в бескрайних просторах степи. Казалось, даже природа на мгновение замерла, чтобы услышать клятву Баймухамбета. Его жена Абыз смахнула слезы с глаз и осторожно положила руку ему на плечо.

После церемонии у кладбища Баймухамбет помог супруге взобраться на верблюда, к горбу которого за ручку был подвешен бесик с их, на днях рожденным, уже вторым сыном Кадырбеком, и лишь потом сам вскочил на своего Борана.

В это время по протоптанной вдоль реки дороге с севера начали подъезжать многочисленные подводы, груженные стройматериалами и рабочими. Баймухамбет с недовольством наблю-

дал, как колеса тяжелых телег оставляют глубокие следы в прибрежной почве. У него крепло ощущение, что ничего хорошего не ждет эту землю.



Правда, землемеры не обманули — здесь вскоре действительно появится маленькая станция железной дороги Оренбург – Ташкент, которая, как уже решили, будет носить название Аккемир. А реку Елек, что протекала рядом, русские делопроизводители запишут в своих документах как Илек.

Уже ничто не могло остановить этот процесс. Баймухамбет знал это. Шум и суета рабочих не могли заглушить в его сердце щемящее чувство утраты. Его душу наполняла горечь.

Краем глаза, он заметил, что на одной из первых телег, восседал уже знакомый ему переводчик Исенгалиев. В его треснутом пенсне и полувоенном наряде, с начищенными медными пуговицами, он выглядел почти комично. Но в этом образе было нечто пугающее — человек, который еще недавно был лишь простым помощником, теперь уже становился частью той системы, которая забирает землю у родовитых и справедливых людей, как Шукеновы.

Не замечая взгляда бая, Исенгалиев демонстративно поправил свои очки и молча продолжал наблюдать за процессом...

Род Шукеновых, с их многочисленными тысячеголовыми отарами овец, стадами рогатого скота и табунами лошадей, почти неделю добирался в полупустынную степь Шубар-Кудука, где едва хватало жалких и редких кустиков горькой полыни, чтобы прокормить разве что сотню непривередливых верблюдов. Земля была каменистой, неуступчивой, и, несмотря на то что этот край когда-то считался частью их территории, здесь не было ни той влаги, которая позволяла пастбищам расти, ни тех живительных источников, что давали силу животным и людям. Когда наконец они достигли нового места, род Шукеновых почувствовал, что на этот раз река удачи их не поддержит.

В первый же год на новом месте Шукеновы потеряли большую часть своего богатства — скот без корма падал, а бедные земли не могли прокормить даже самых выносливых животных. Овцы, лошади и коровы чахли, умирали от голода и болезней.

Конечно, не все казахи безропотно повиновались выселению. Из глубин бескрайних степей, где еще сохранялись остатки независимости и старых традиций, некоторые батыры, отрицающие власть чужаков, то и дело совершали вылазки, нападая на власть имущих и переселен-

цев. Эти смелые и отчаянные атаки становились ответом на растущее давление, на попытки силой переселить их с родных земель.

Логично было ожидать, что царские чиновники, встревоженные ростом сопротивления, вскоре примут жесткие меры и запретят казахам кочевать, лишив их последней свободы. Отбрали почти все юрты – это было главное жилье чабанов и кочевников, да и вся культура кочевого народа была основана на этой мобильности. Когда их лишили не только земли, но и привычного уклада жизни, последствия оказались катастрофическими.

Без укрытия и возможности перемещаться с местами пастбищ, род Шукеновых, как и многие другие, столкнулся с ужасным мором: скот чахнул от голода и болезней, а сами люди, лишённые надежды, теряли силы и здоровье. Полоса бедствий и разрухи затягивалась, и лишь немногие выжившие могли еще надеяться на будущее.

А потом свершилась революция, и на фоне кровавых бурь гражданской войны старейшины рода Шукеновых приняли решение не вступать в бой. И не потому, что они признали новую советскую власть или пощадили царизм за все принесенные страдания. Нет, причина была более прозаичной и, возможно, трагичной. Роду Шукеновых, лишённому былого богатства и надежд, терять уже было нечего.

Сил на сопротивление не хватало, да и средств для того, чтобы бежать в Китай, как это сделали многие другие казахи, у них не было. Этот многотысячный марш через горы и степи стал бы последним для них, оставив лишь смерть и разорение. Никакой борьбы уже не было в их силах.

В такой ситуации старейшины принялись за более рациональный выбор: оставаться и переждать. Жить и дружить с большевиками, петь их песни и по полной использовать все возможности, которые новая власть готова была предложить. Белобородые старцы, пережившие столь много страха и лишений, здраво рассудили, что коллективизация и все, что с ней связано, уже не принесет им ничего хуже того, что они пережили. В конце концов, коллективизация была менее страшной, чем разруха, голод и война. Они начали адаптироваться и мириться с новыми условиями, пусть и не разделяя идеологию, но принимая ее, как неизбежность, спасение.

У бывшего богатого бая Баймухамбета Шукенова, когда-то удачно и выгодно взявшего в жены дочь одного из самых влиятельных султанов Амангазиева, из всех прежних богатств осталась лишь одна, несомненно святая для него вещь — его три сына: Мурат, Кадырбек и Данда. Последний родился уже в изгнании, в мире, который сильно изменился и оставил их семью без прежней роскоши и статуса. Тот старинный мир, где на каждом шагу встречались великолепные кочевые шатры, бескрайние стада и неспешные разговоры о чести и богатстве, исчез. Вместо этого Баймухамбет был вынужден сталкиваться с новой реальностью, где его наследие было почти стерто, а мечты о будущем теперь нуждались в иной форме.

Но, несмотря на все потери и испытания, отец нашел свое утешение в стремлении дать своим детям лучшее из того, что мог. Он больше не видел в богатствах этой земли и в своих стадах гарантию успеха. Все, что оставалось у него в этом новом мире, это желание для своих сыновей построить жизнь, полную знаний. Баймухамбет видел будущее своих детей не в пастбищах и не в руках ремесленников, а в образовании.

Он настоял, чтобы мальчики ходили в русскую школу, обучались языку, литературе и всем тем знаниям, которые были ключом к тому миру, который теперь все больше определял их судьбы. Он даже пригласил жить в его доме двух учительниц, которых прислали в аул после революции. Денег за их проживание аксакал естественно не брал. При этом заботился о том, чтобы учительницы чувствовали себя комфортно, и даже кормил их.

Так, после хорошего обеда, под пологом простого, но уютного дома, учителя вели дополнительные уроки для троих подростков...



#### Древо памяти

Весной степь быстро и легко избавилась от толстого слоя зимнего снега. Как и всегда, в этом ей помогло яркое внутриконтинентальное азиатское солнце, которое, как будто намеренно, с каждым днем становилось все более жарким и уверенным. В его лучах земля живо просыпалась, сбрасывая с себя остатки зимнего покрывала. Легкий ветерок, несущий запах влажной земли, играл с тонкими ивами, которые, как зеленые нити, выростали на берегах витиевато текущей тут реки Илек.

Трель типичных для этих мест птиц воспевала приход весны, наполняя воздух живым звоном. Это был звук, который каждый раз поднимал настроение — нечто волнующее, чистое, обещающее обновление. Птицы, казалось, воскрешали саму землю своим пением, напоминая о ее невероятной силе восстанавливаться.

Зелень неумолимо пробивалась через обледеневшую землю, освобождая под собой новые всходы. Среди этого ожившего ковра растительности особенно выделялись бордовые стручки, словно проколы, взламывающие корку земли. Эти первые проблески весеннего обновления принадлежали туйетабану. Так местные жители называют всходы шренки и борщова — разноцветных тюльпанов, украшающих эти края.

Пока туйетабан выглядел сдержанно, почти скромно, но он таил в себе обещание. Еще немного, и его яркие, смелые цвета рассыплются по степи, как брызги радуги, внося в суровый и однообразный пейзаж оттенки радости. Такие мгновения заставляли даже самых занятых людей останавливаться, смотреть и восхищаться красотой пробуждающейся природы.

Полноводная река, омывая свои берега, все еще хранила прохладу зимней стужи. Ее воды не спешили согреться, но жизнь в ней и вокруг нее уже начинала пробуждаться. На гладкой поверхности, отражающей раннее весеннее солнце, появились первые водоплавающие переселенцы с юга — утки и гуси. Они неустанно ныряли за пищей или лениво покачивались на слабых речных волнах.

Среди шумных, беспокойных пернатых выделялась величавая пара белоснежных лебедей. Их неспешные, грациозные движения нарушали суетливый ритм реки, словно природа

сама позвала этих птиц, чтобы украсить весенний пейзаж ноткой утонченности и спокойной красоты.

В этот момент вдоль берега, размеренно и неторопливо, прогуливались хазрет Мендыкулулы и отставной корнет Ильченко — два человека из разных миров, но сейчас объединенные общей дорогой.

Время менялось, Российская империя переживала колоссальные изменения: столыпинские реформы сдвинули массы людей, запустив волну переселений и хозяйственных преобразований. В казахских степях многочисленные крестьяне, отправленные на освоение новых земель, ставили хаты, распахивали целинные просторы, привнося в древний кочевой край новые порядки и обычаи.

Старший мужчина, сдержанный и величественный, выглядел как человек, несущий в себе глубокую мудрость. Он был облачен в традиционную исламскую одежду, а на голове — белый тюрбан, подчеркивающий его духовный статус. Длинная, густая, белоснежная борода придавала его облику благородство и почтенность.

Его черты лица говорили о многом: широкий лоб и четко выраженные скулы; густые, чуть тронутые сединой брови; небольшие, глубоко посаженные глаза с проникновенным и сосредоточенным взглядом; прямой, довольно широкий нос; тонкие, сдержанные губы; слегка смуглая кожа, прорезанная сетью морщин, особенно на лбу и вокруг глаз — след прожитых лет и накопленного опыта.

В одной руке он держал четки, которые неторопливо перебирал пальцами, а в другой — асатаяк. Это была не просто обычная трость, а посох, которым пользуются старейшины, бии, батыры и духовные наставники. Он служил ему не только опорой, но и символизировал мудрость, авторитет и уважение.

Рядом с ним шел другой мужчина — явно моложе, в штатском. Он был одет в безупречно сидящий костюм-тройку, состоящий из удлиненного, приталенного сюртука, жилета и брюк из добротной серой ткани. Под сюртуком белела рубашка со стоячим воротником с отворотами, а накрахмаленные до хруста манжеты подчеркивали его аккуратность и внимание к деталям.

Несмотря на гражданский наряд, в его уверенной, чуть пружинистой походке безошибочно угадывался кавалерийский офицер — скорее всего, уже в отставке.

В движениях чувствовалась привычка держать спину прямо. Чуть быстрые, но выверенные шаги говорили о человеке, привыкшем к военной муштре. Где-то в уголках его натренированного тела еще жили собранность и готовность, но теперь они были слегка приглушены — словно боец, сложивший оружие, но не утративший привычки к четкости и дисциплине.

Они шли бок о бок — мудрый наставник и человек, переживший свой военный путь, каждый из них со своей историей, со своим взглядом на этот мир, объединенные этой неспешной прогулкой под небом, где белые лебеди величаво скользили по водной глади.

— Евгений Прохорович, — обратился убежденный сединой казах к своему спутнику, легко опираясь на асатаяк. — Премного вам благодарен за приглашение и столь щедрое угощение. Ваша суженая — настоящая чудесница! Умудрилась в наших суровых, засушливых краях накрыть такой изобильный стол, будто в оазисе.

— Согласен с вами, уважаемый Хазрет Кажы, — пригнув голову, проговорил отставной офицер. (Хазрет Кажы — почетный духовный наставник, совершивший хадж.) — Рука у моей Прасковьи легкая. К чему ни притронется, все распускается и благоухает! Скоро сами убедитесь, когда зацветет наш палисадник. Вы, я надеюсь, к нам надолго?!

— Это уж как Всевышний распорядится, — раздумчиво произнес Мендикулулы Мухамедказы, проводя рукой по рукояти асатаяк. — Дождемся, что скажет зодчий. Нам повезло: мы заручились согласием у известного мастера Бирмана Кошимкулулы. Его имя издавна прославлено и далеко за пределами нашей земли.

— Одно вот только меня смущает... — он слегка нахмурился. — Слышал я, великий Архитектон часто хворает. Успеть бы нам свершить задуманное...

— Все по воле Божьей, — спокойно поддержал его Евгений Прохорович и на ходу перекрестился.

Хазрет, не выпуская из рук асатаяк, плавно провел ладонью сверху вниз — жест, напоминающий омовение лица.

— Я уже представляю, каким украшением станет мечеть для нашего Аккемира! — восхищенно и искренне произнес отставной служащий, которого из-за воинского звания «корнет» в селе прозвали «Труба».

— Главное, уважаемый господин Ильченко, — с легким укором произнес хазрет, поднимая руку с посохом. — Не красота, а польза. Ведь это будет мечеть-медресе. Там не только будут возносить молитвы, но и возвращать ученых, врачей, ремесленников, педагогов и мастеров слова. В ее стенах духовные наставники объединят религиозные знания с традиционными казахскими устоями.

— Вашими устами глаголет истина, — согласился отставной офицер. А про себя подумал, что строки местного поэта Эбубәкір Кердері явно относились к таким людям, как хазрет кажы Мендикулулы:

«Мудрый и рассудительный, человек с широкой душой, глубоким умом, мягким характером, терпеливый, благословенный, обеспеченный, отдавший всю свою жизнь служению Аллаху, не замышлявший зла даже против врагов, чьи слова были исцелением для народа. В терпении – подобен пророку Айюбу, в голосе – пророку Дауду, в характере – самому Расулу, а в богатстве – Сулейману».

— Нам зодчий нужен не для красоты и изящества строений, — продолжил размышления седоволосый хазрет, легко постукивая асатаяком по земле. — Он нам необходим для сохранения традиционных знаний и соблюдения всех требований к молебному сооружению. А то ведь разногласия и прения уже начались...

Он сделал небольшую паузу, глядя вдаль, словно взвешивая сказанное.

— Одни хотят видеть ишанские мечети, характерные для Юга и Среднего жуза – без высоких минаретов и больших окон. Другие ратуют за мечети в стиле татар и башкир, популярные на Севере – с высокими шпилями и просторными светлыми окнами. Ну, а третьи и вовсе склоняются к арабской традиции – «парусной мечети» с несколькими минаретами.

Хазрет усмехнулся, едва заметно покачав головой.

— Если вам будет интересна моя точка зрения, — он посмотрел на собеседника, — то я, как и многие казахские религиозные лидеры, не приветствую излишне роскошные мечети. Религия должна быть скромной и доступной для народа.

— А с местом для постройки уже определились? — поинтересовался отставной офицер, слегка приподняв бровь.

— Да, прямо за зиратом — древним карасайским кладбищем.

В голосе хазрета звучала глубокая убежденность, а его рука снова крепче сжала асатаяк, словно подчеркивая нерушимость традиций и духовную связь поколений.

Весенний вечер подкрадывался незаметно. В воздухе витал свежий аромат прогретой за день земли, смешиваясь с терпким запахом полыни и талой воды. Легкий ветерок доносил издали тягучий аромат дымка, клубящегося над поселковыми дворами. Небо на западе окрасилось в теплые багряные и золотистые оттенки, предвещая скорый закат.

В такт неспешной беседы мужчины поднялись от реки вверх на крутой берег и подошли к поместью корнета в отставке. Навстречу им уже спешил пожилой батрак. Он торопливо снял папаху, прижимая ее к груди, и согнулся чуть ли не до земли.

— Что надобно, Ефим? — поинтересовался хозяин, останавливаясь. — Почему неймется? Ты ведь видишь, у меня гость.

— Прости, барин! — работник вдруг пал на колени. — Не гневайся, не за себя прошу.  
— Говори! — голос корнета в отставке прозвучал строго, но без раздражения.  
— Так деревца ж сохнут, барин, — почти с мольбой выдохнул батрак. — Третий день стоят. В землю просятся. А меня не было, никто не позаботился о саженцах. Сгинут почему зря...

Хозяин устало провел ладонью по лицу, словно прогоняя тень беспокойства.

— Не переживай, завтра определяюсь с местом.

— А почему не сейчас? — неожиданно предложил хазрет Мендикулулы, чуть приподняв бровь. — Я подсоблю. Как у вас говорят русские: каждый мужчина должен зачать сына, посадить дерево и построить дом. Сегодня, значит, на очереди — деревья.

Корнет на секунду задумался, а затем, махнув рукой, сказал:

— Что ж, в этом есть смысл. Неси, Ефим, лопаты!

Так, в последний свет весеннего дня, когда багряное солнце уже клонилось к горизонту, мужчины высадили деревья в одну линию, разделяя жилой двор и загон для скотины. Пятнадцать саженцев — карагач, тополь, ива — были бережно погружены в землю, окроплены водой и засыпаны рыхлой почвой...

К осени стало ясно, что переживания пожилого батрака были не напрасны. Из всех саженцев укрепился, пустил корни и выстоял лишь один....



### Верба надежды

Село Золотухи Полтавской губернии преобразилось к великому празднику, словно крестьянская хата к весеннему свадебному застолью. Великою вулицею, усыпанной золотистого цвета песком, неспешно шли сільські жінки в чистых вышитых фартуках и белоснежных платках, завязанных по-старинке — «под подбородок». Их лица, загрубевшие от солнца и полевых забот, с морщинами — словно тонкая вышивка времени, — светились покоем и умиротворением, напоминая лики икон в красном углу горницы.

Чоловіки в свежевыстиранных сорочках да парубки с расстегнутыми воротами и закатанными рукавами шли обособленно. Над ними витало облако табачного дыма из люлок.

Селянин Даниил Алексеевич Пилипенко и его супруга Лукея, окруженные пятью детьми — сыновьями Самсоном и Степаном, дочерьми Дарьей, Анастасией и Натальей — в празд-

ничных одеждах тоже спешили на богослужение. Время подгоняло. Последние месяцы семья усердно готовилась к переселению, и уже завтра им предстояло отправиться в дальнюю дорогу — из Полтавы в Киргизскую степь.

В это Вербное воскресенье их ожидала особенная, торжественная литургия. Звучали гимны, воспевающие Христа как Царя, а священник читал Евангелие о Его торжественном вхождении в Иерусалим. В завершение службы освящали и окропляли святой водой принесенные прихожанами вербные веточки — символ победы жизни над смертью и обновления.

Не успел Даниил выйти из церкви, как почувствовал легкий, скорее дружеский, хлест веткой по спине. И тут же услышал за спиной голос свата Евдокима Михайловича Симоненко:

— Верба хльость — бий до сліз, буде здоров'я!

Даниил, поддавшись веселому настроению, сразу ответил свату тем же. Он слегка стегнул того вербной веточкой, приговаривая:

— Верба б'є, не я б'ю, за тиждень — Великдень! Буде здоров'я!

Рядом весело хохотнули Лукея и Марфа — две сватки, стоявшие в обнимку, как родные сестры. Щеки их порозовели от весеннего ветра и общего веселья, а в глазах плясали огоньки радости. Словно и правда в эти минуты, среди вербных веток, колокольного звона и предвкушения праздника, все тревожное уходило прочь — а оставались только жизнь, улыбки и здоровье.

Вот чего-чего, а здоровья им требовалось с лихвой — и в теле, и в душе. С тем, что затеяли, да с тем, что предстояло пережить, — одного желанья было мало.

Семья Симоненко тоже собиралась покидать родное Золотухи. Их ждал тот же путь — долгий, непростой, но, быть может, полный надежд.



Разойдясь по хатам, сваты Лукея и Марфа, будто сговорившись, сняли со стен иконы и заховали их себе за пазуху. Туда же бережно положили и освященные в церкви вербные веточки — как оберег и память о родной стороне, которую им предстояло вскоре покинуть.

Буквально в последние минуты перед отъездом в семье Пилипенко разгорелся настоящий бунт. Старшая дочь, Дарья, наотрез отказалась уезжать. К тому времени она уже служила в доме пана из польской шляхты. Ни уговоры, ни слезы, ни даже строгие отцовские приказы не смогли ее переубедить. Только позже, будто в исповеди, открылась истина: Дарья была по уши влюблена в сына хозяев. Неожиданно для всех, богатый землевладелец вовсе не возражал против их официальной помолвки...

Одновременно, в соседней Левенцовке, малоземельный Антон Павлович Глузд с супругой тоже собирали свои нехитрые пожитки. Помимо пары малолетних детей, под их кровом в то время жили взрослые сыновья — Леонтий и Дорофей. Первый был холост, а у Дорофея с молодой женой Федосией уже подрастала двухлетняя дочь Евфимия — веселое, цепкое дитя. В дороге она почти не будет слезать с дедушкиных рук — то от усталости, то от страха перед неизвестностью.

Так уж повелось в селе, что их семью издавна, в шутку и с доброй иронией, обычно приветствовали короткой фразой:

— Мати глузд!

Что означало — «иметь здравый смысл». Но в это Вербное воскресенье, у плетней хат все чаще перешептывались по-иному. На типичном новороссийском говоре то там, то сям раздавалось:

— Глузд сыхав с глузду!

А это уже значило — Глузд с ума сошел.

— Сказився Антоха... — цокала языком старая Ковтунша, выглядывая из-за тюлевой занавески.

— Воно ж глянь: хату не продали, хазайство не пристроили... Куды ж, питаю, зібралися? — отвечала ей соседка, перекликаясь через плетень с противоположной стороны улицы.

— Та он же мовит: степи там казенные да воля большая...

— То хіба ж з порожніми руками у степі воля?!

— А може, й на лучше. Тут на всіх дітей землі точно не буде...

И все равно головой качали — мол, не по-хозяйски все это, глупо и рискованно.

А Антон Павлович, как назло, шагал по двору уверенно, с прямой спиной. Слышал все, но не обращал внимания...



С царской милостью его высокопревосходительство, министр Петр Аркадьевич Столыпин, облегчил участь переселенцев — на каждую семью выделялось по одному товарному вагону поезда. Из их мест в тот день, в далекий и полный неизвестности путь, уезжали четырнадцать семей — таких же малоземельных, бедных крестьян, как Даниил Пилипенко, Евдоким Симоненко, Антон Глузд и даже совсем неимущий Колбасюк. Годы бесправного батрачества на пана оставались в прошлом. Мечта и надежда сопровождали их, сияя путеводной звездой на горизонте.

Везли с собой весь нехитрый деревенский скарб: молотки, пилы, косы, грабли и лопаты. Каждый хранил и берег пуще ока посевное зерно, семена овощей и картофель. У кого-то нашлась собственная сеялка, у другого — небольшая молотилка.

Взрослых свиней зарезали заранее, посолив в дорогу сало, а из мяса накопили колбасы. На развод брали с собой лишь поросят.

Из другой живности везли все, что могли. Проходя вдоль длинного клубящегося дымом состава, готового вот-вот тронуться, сквозь гудки паровоза слышались редкие фырканы и ржание лошадей, мычание коров и телят, бляение коз, кукареканье петухов и кудахтанье кур.

Большую часть вагона семьи Пилипенко занимал корм для скота. Никто толком не знал, как долго они будут в пути, а животину кормить нужно было постоянно. После зимы сена почти не осталось. Даниил, вместе с сыновьями, нарезал охапки свежей вербы — той самой, что росла повсюду и была под рукой.

— Яка-не-яка, а корміжка, — сказал отец, вытирая лоб. — І кози поїдять, і кобилка кору пообгризає...

К концу их многодневного пути от многочисленных вербных вязанок останутся, как говорится, ножки да рожки. Но даже их хозяйственный мужик не оставит в вагоне.

— Дивіться, степ та й годі. Ні дерева, ні кілочка, — скажет Даниил, выгружаясь со своим хозяйством на одной из станций новопроложенной в этой степи железной дороги Оренбург — Ташкент. — Буде чим перші дні вогонь розвести.

Вскоре они узнали, что станция называется Аккемир, а прилегающее к ней село — или, точнее сказать, небольшой аул — Илекский.

Своим ходом, на телегах, переправившись через брод, караван переселенцев направился на юг вдоль реки Илек.

Они уже знали, где им разрешили поселиться: годом раньше ходоки из их селений в Полтавской губернии во главе с представителем земельного комитета побывали в этих краях и договорились, кто, где и сколько земли займет.

Вереница телег прошла несколько верст. В устье притока они задержались у небольшого, отдельно стоящего и даже на первый взгляд очень зажиточного хутора. Их заметили, и сам хозяин лично вышел на дорогу, чтобы поприветствовать многолюдный обоз.

Из его слов переселенцы узнали, что здесь обосновалась семья выходцев из Самарской губернии. Он представился как Гаврилов, а свой участок земли назвал Отрубной. Мужчина пояснил, что его постоянный дом все же находится в селе через реку — Золотоноше, а земли и хозяйство — по эту сторону.

— Одним словом, отруб, — развел он руками. — Так принято у нас в Поволжье. На хуторе живут, а на отрубе только работают и держат хозяйство.

После непродолжительной беседы колонна двинулась дальше, вскоре свернула налево и поднялась к верховьям мелководной реки Котибар.

Они миновали совсем крохотное, еще только строящееся село Киевское — несколько хат с пахнущими свежей глиной стенами и крытые колючей чилигой да камышом. Позже его переименуют в Леваневское.

Чуть дальше дорога вилась между холмами и вывела переселенцев к более крупному поселению. Название его — Котирбатырский — звучало непривычно и тяжело ложилось на новоросские языки. Переселенцы переглядывались, пытались повторить вслух, да все неловко выходило. Неудивительно, что вскоре его переименовали в Шевченко — ближе, роднее, понятнее.

А за ним, словно сторожа степных врат, на равном расстоянии друг от друга раскинулись три поселка — Богдановский, Павловский и Семеновский. Местные поговаривали, что когда-то их основали три брата. Каждое село носило имя одного из них. А вот фамилия основателей давно канула в забвение — ее уже никто не помнил. Здесь и завершился путь новых поселенцев.

Телеги скрипели. Сухая степь пылала под солнцем. Где-то вдали замирал крик коршуна. Пахло пылью и пылью, надеждой и тревогой. А впереди — новая жизнь.

Когда переселенцам на берегу слияния речушек Котибар и Илек отведут положенные по столыпинским реформам участки собственной земли, они расставят по их контуру отметки — колышки из тех же привезенных с собой вербных веток. И случится настоящее божье чудо природы. Большинство из этих веток пустят корни на благодатной и плодородной земле. Они приживутся и потянутся к небу. Начнут облагораживать равнину, даря тень и прохладу в знойное время года. А зимой станут защитой от снежных вьюг и буранов...

\*\*\*

На левом притоке могучего Днепра, там, где воды отражают нежное солнце, раскинулся город с певучим именем – Золотоноша. Здесь пересекаются пути – из Бахмача в Одессу, дороги, ведущие к Киеву через зеленые просторы Мироновки, и тракты, связывающие Киев, Кременчуг и Черкассы. От Черкасс до Золотоноши – рукой подать: 30 километров. Здесь, среди широких полей и степей, живут малороссы, сохраняя тепло и дыхание земли.



Группа переселенцев — мальороссов (д. Золотоноша).

Считается, что свое имя Золотоноша получила благодаря реке: ее песчаное дно, усеянное золотистой слюдой, сияло на солнце, словно настоящая золотая река. Также говорят, в середине XVII века город служил сборным пунктом налогов. Сюда стекались золотые монеты, и люди шептали: «Золотоноша — ноша золота». Другая легенда ведет к черкасским казакам, которые прятали добытое в сражениях золото в болотистых заводях реки, укрывая его от вражеских глаз. А еще рассказывают о монголо-татарской флотилии: суда, груженные данью, поглотила буря. Позже волны вынесли на берег золотые украшения, и в этом месте, как говорят старожилы, выросла Золотоноша.

Однако правильнее будет верить в другое: золотистое сияние реки, вызванное вкраплениями слюды, и стало причиной такого звучного имени. Здесь нет спрятанных кладов, зато каждый вечер река вспыхивает на закате, словно тысячи маленьких сокровищ, рассыпанных рукой самой природы...

Уже в начале XX века Золотоноша превратилась в заметный промышленный и торговый центр: здесь работали заводы по производству чугуна, уксуса, мыла, кирпича, газированных и фруктовых вод, пива. Мельницы, маслобойни и крупорушки наполняли воздух звоном труда. Вместе с промышленным ростом расцветала и сфера образования: в городе открылись уездная школа, мужская и женская гимназии, сельскохозяйственная школа, а для любителей искусства — свой театр.

Но не всем в Золотоноше жилось сладко и припевающе. За крепостными валами, за торговым шумом ярмарок пряталась иная, более суровая правда. Бедняки, безземельные крестьяне, не сумевшие найти себе место под солнцем.

Одна из групп этого слоя населения, в первые годы века решили покинуть родной город. Длинной, впечатляющей колонной они двинулись на восток, туда, где за бескрайними степями начиналась Астраханская губерния. Шли с узлами за плечами, с детьми на руках, неся в сердце тусклый огонек надежды — найти землю, работу, обрести свою долю на новых просторах.

Когда путь привел к Царицыну, их взглядам предстала великая Волга — полноводная, мощная преграда. В пригороде им пришлось переправляться через широкую реку на скрипу-

чих деревянных паромах, которые день за днем перевозили усталых путников и их нехитрый скарб на другой берег.

Переправа стоила копейки, но даже эти гроши были на счету. На траве, прямо под открытым небом, взрослые раскладывали перед собой свои скудные запасы: кто доставал медный пятак, кто – затертую монету, кто – последний грош, завернутый в узелок.

У Чернышевских не нашлось даже мелочи. Тогда их отец решился и подошел за помощью к старшему из Федорченко.

– Ага, я что, по-твоему, деньги кую? – с усмешкой отрезал кузнец...

В тот день между переселенцами, должно быть, пробежала черная кошка. Когда колонна подошла к берегу, а тяжелые повозки одна за другой стали выстраиваться к парому, вспыхнула грубая свара. Семейство кузнеца Федорченко – крепкий, зажиточный мужик с тремя взрослыми сыновьями – не захотело ждать своей очереди. Толкаясь и крича, они нагло протиснулись вперед, вырываясь к парому первыми. В давке их повозка задела покосившуюся телегу Симоненко – бедняка с малыми детьми, – и та, скрипнув, съехала в кювет, застряв в грязи.

Крики, ругань, слезы – все смешалось у берега. Но справедливости никто не добился: сила всегда торопится быть правой. Федорченко с сыновьями уже грузились на паром, а Симоненко с его семьей остался вытаскивать свою телегу с помощью нескольких сочувствующих...

Дни за днями колонна двигалась по выжженной солнцем астраханской степи. Над их головами пел глухой ветер. При закатах степь багровела, словно старое золото, а ночью звезды висели так низко, что казалось – вот-вот и ты коснешься их рукой...

На полпути их снова ждала преграда – другая, еще более грозная река. Широкий в этих местах Урал раскинул свои воды, холодные и тяжелые, словно броня. Берега его были пустынные, и только кое-где среди трав и редких деревьев маячили крохотные селения – Базар-Тюбе, Кара-Тюбе, словно забытые в этом краю островки жизни.

Здесь, как и у Волги, путников ожидал паром. Старые, скрипучие настилы набрякли от воды, канаты натянулись, и под тяжестью повозок и людских тел паромы тихо стонали, словно сами реки неохотно отпускали этих усталых странников на новый берег. Расплачивались за проезд последними сбережениями, а нередко и натурой – отдавали остатки хлеба, последнюю овцу или истощенного быка.

Дорога за Уралом была тяжелой и голодной. На привалах, под колючим степным ветром, истощенные и измотанные люди разводили костры, чтобы хоть немного согреться. Варить им было практически нечего – лишь кипятили и пили воду. Пламя дрожало в темноте, отбрасывая длинные тени на пожухлую траву. Сидели молча, кутаясь в одежду и прижимая детей к груди, и только треск сучьев нарушал великую тишину этой целинной земли.



Дальше путь вел их вдоль реки Уил, узкой и беспокойной, словно живой серебряной нитью вплетенной в бескрайнюю степь. Им жизненно необходимо было держаться поближе к воде – реки были единственным спасением на этом бесконечном сухом просторе. Оставшиеся лошади, волы и коровы с козами, которых они вели за собой, нуждались в питье так же остро, как и сами люди. Без воды весь их маленький мир – повозки, узлы, дети, мечты о новом доме – рассыпался бы в пыль.

Уил извивался между холмами и курганами, терялся в тростниках, снова появлялся, блестя на солнце. Люди держались его берегов, словно путеводной линии, за которой тянулась надежда на обетованную землю.

Когда река подходила ближе, животные сами чувствовали ее дыхание. Лошади фыркали и тревожно били копытами, волы тяжело мотали головами, натягивая веревки, а козы, звеня колокольчиками, рвались вперед. Переселенцы, спрыгивая с телег, старались направить скотину к воде, не давая ей разбежаться. А их дети – измученные жаждой мальчишки и девчонки – стоя на коленях жадно зачерпывали пригоршнями студеную воду.

В один из таких дней – когда пришло время напоить скот – среди переселенцев вновь вспыхнула ссора. Тому же самому кузнецу Федорченко показалось, что три самые бедные семьи – Симоненко, Пономаренко и Чернышевских – с целой оравой детей и исхудавшим скотом нарочно задержали очередь на водопое. Он с пренебрежением громогласно крикнул в их сторону:

– Вы как вши на наши здоровые головы! Пьете нашу кровушку, да еще и нас задерживаете!

Кто-то из обозных поддакнул:

– Развели на беду нам тут свою нищету...

Слово за слово – и вспыхнула обида. Эта сцена запала в сердца многих. Именно тогда зародилась горечь, которая уже в пути разделила колонну на «своих» и «чужих». С той поры на обездоленных смотрели особенно косо, сторонясь их. И в обозе они плелись обособленно, самыми последними, будто отделенные от прочих невидимой чертой обиды и унижения...

Когда-то река изменила свое направление. Уил внезапно свернул на север, сделав крутой изгиб среди степных просторов. Колонна переселенцев подошла к месту, где дорога упиралась

прямо в воду. Здесь природа сама, словно смилостивившись, подготовила для них спасение – мелкий брод.

Холодная вода, весело журча, покрывала колеса повозок почти до самых осей, но дно оказалось твердым, крепким, устланным тонким слоем песка. Не теряя времени, люди направили повозки вброд: лошади и волы уверенно ступали по надежному грунту, а тяжело нагруженные телеги неторопливо покачивались на потоке. За короткое время вся колонна, без потерь и суеты, перебралась на другой берег.

Люди радостно стряхивали с одежды воду и песок, отжимали подола, поправляли узлы. Лошади фыркали, отряхиваясь, и тянули морды к людям в поисках ласки. Переселенцы гладили мокрые шеи верхних животных, благодарно похлопывая их по бокам. Где-то в колонне засмеялся мальчишка, радуясь, что тяжелая вода не утащила их в свою студеную глубину. Впервые за долгие недели усталость на лицах сменилась светлой улыбкой: трудный путь продолжался, но последний водный рубеж наконец-то остался позади.

Согласно выданному им предписанию – на основании указа министра П.А. Столыпина, – переселенцам надлежало поселиться вблизи одной из многочисленных станций Оренбургско-Ташкентской железной дороги. Аккемир находился в Иргизском уезде Тургайской области Российской империи.

Пункт предписания встретил их глухим скрипом деревянного перрона, пронзительным ветром с равнин и запахом степной пыли. Навстречу вышел сам мастер и управляющий станцией – Нурлан Исенгалиев. В своем треснувшем пенсне, полувоенном коротком кителе с начищенными медными пуговицами он выглядел почти комично: словно герой старого анекдота о строгом чиновнике на краю света. Но за этой внешней несуразностью скрывался человек умный и деловитый. Исенгалиев свободно и чисто говорил по-русски, без акцента, чем немало удивил переселенцев. Он деловито пересчитал людей, окинул их строгим взглядом из-под щербатого пенсне и без лишних разговоров повел колонну вдоль берега Илека – к югу от станции.

– У нас, в Аккемире, свободных мест для переселенцев уже нет, – посетовал он на ходу и вслух, не оборачиваясь, будто говорил не столько людям, сколько самому себе.

Несколько километров – и там, где река лениво изгибалась среди холмов, Нурлан остановился, махнул рукой в сторону просторных степных перелесков и коротко сказал:

– Осваивайтесь здесь. Земля хорошая. И вода рядом.

Не ожидая благодарностей, развернулся и поскакал обратно к станции, оставив их стоять посреди новой жизни – среди ветра, трав и бескрайнего неба.

А переселенцы?! В их глазах смешались растерянность и тихая, робкая надежда: земля была пустой, необъятной, словно чистый лист – и все, что теперь должно было на ней появиться, зависело только от них. Кто-то поправил за спиной рюкзак, кто-то молча опустился на колени, подхватил горсть земли и медленно пропустил ее сквозь пальцы – пробуя на ощупь свою новую судьбу...

Место, отведенное им под поселение, оказалось удивительно удачным. На пересечении двух рек – Илека и Коктобе – природа словно сама приготовила для людей укромный угол. Широкая зеленая пойма, простирающаяся вдоль берегов, радовала глаз редкой для степей густой растительностью. Реки, в своем неспешном течении, дарили земле жизнь: даже в самую знойную пору здесь оставались сочные травы для скота и чистая вода для людей.

Одна изгибалась ленивыми петлями, словно обнимая будущие хутора, а другая, спускаясь с северо-востока, подхватывала живительную влагу и вела ее дальше по степи. Такое расположение было бесценным подарком: земля в поймах была мягкой и плодородной; воды хватало для скотины и первых посевов; близость железной дороги сулила связь с внешним миром, рынок для продажи излишков и возможность быстро добраться до крупных станций.

Когда переселенцы впервые окинули взглядом новую землю, начались долгие обсуждения: где ставить первые хаты, где копать колодец, куда гнать скотину на пастьбу. Лучшие места

– ближе к реке, в защищенной от ветров низине за холмом – сразу привлекли внимание. Там вода была под рукой, да и земля казалась плодороднее, чем на голых степных пригорках.

И тут случилось то, что зрело давно. Симоненко – тихий, нескладный крестьянин с оравой малышей, – выбрал для себя скромный уголок у реки, там, где поднимается небольшой холм, словно естественная защита от степных бурь. Но не успел он воткнуть в землю первый колышек, как на него навалился Федорченко со своими взрослыми сыновьями.

– Это место наше! – рявкнул кузнец, оттолкнув Симоненко в сторону. – Моя кузница важнее для станицы!

Многолетний отец попытался возразить, но кулак Федорченко был весомее слов. В завязавшейся драке невысокий, худой Симоненко, несмотря на ярость, быстро уступил мощному кузнецу. Его повалили на землю, забрали колышки и без лишних разговоров начали размечать участок для подворья кузнеца.

Сгорая от стыда, унижения и злости, избитый поднялся с пыльной земли. Не проронив ни слова, собрал своих детей, поднял упавший узел с вещами и, не оборачиваясь, побрел прочь – через реку.

И странным образом за ним последовали Пономаренко и Чернышевский со своими семьями. Сжав губы, они уводили за собой скрипучие телеги и запыхавшихся детей. В тот момент их объединяла одна немая обида, одна боль, которую нельзя было забыть.

Они хотели уйти дальше, в самую глушь, чтобы навсегда прервать всякую связь с теми, кого еще недавно считали своими. Но уже через пару километров их остановила красота берегов реки Коктобе. Там, где трава была густой и мягкой, а ветви ив склонялись над тихими плесами, они почувствовали: здесь можно остаться и жить.

Когда переселенцы-новороссы впервые ступили на земли зеленого оазиса, в глубине меж деревьев они обнаружили ряд серых юрт. Возле одной из них, аккуратно выстроившись полукругом, стояла группа людей – тех, кого тогда называли киргизами.

Местные жители издали наблюдали за пришельцами на том берегу и за группой изгнанников. Они не спешили, не суетились, лишь молча встретили пришельцев своим неподвижным, внимательным взглядом.

Старики в меховых шапках, с белыми бородами, сидели на ковре у входа в юрту, будто восседая на невидимом троне древней земли. Их лица были серьезны и спокойны: они видели многое – и кочевья, и войны, и солнце над бескрайними просторами – и знали, что земля не принадлежит никому навсегда.

За ними стояли мужчины помоложе – в тяжелых халатах, подпоясанных кушаками, кто в шапках, кто с непокрытыми головами. Их лица были загорелыми, суровыми, но без враждебности.

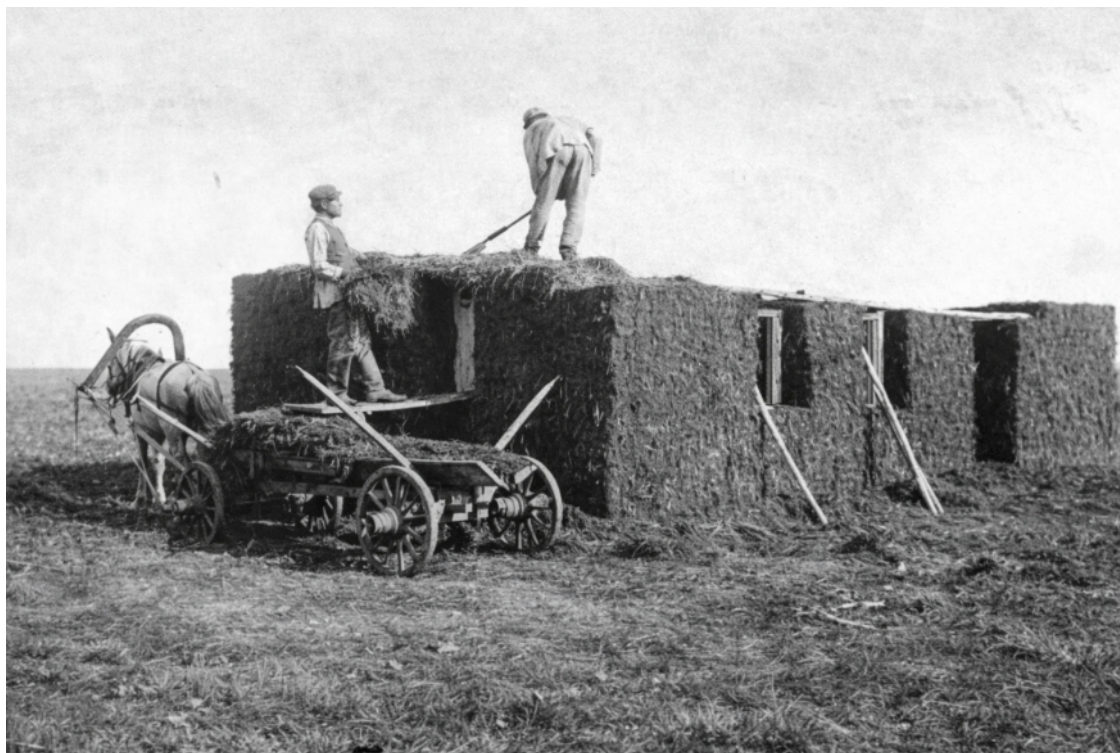
Три семьи новороссов – оборванные, усталые, с детьми на руках – глядели на них с настороженным любопытством, будто перед ними стояли духи самой степи: непонятные, древние, вечные.

Среди степенных мужчин, стоящих полукругом у серой юрты, особенно выделялся один. Он был моложе всех, худощавый, с серьезными чертами лица, в простой светлой одежде. На его голове сидела аккуратная тюбетейка, украшенная едва заметным вышитым узором. На груди, поверх халата, висел на шнуре темный кулон – возможно, амулет или молитвенный знак. В его облике не было ни гордыни, ни страха – лишь спокойная сосредоточенность человека, несущего в себе веру и традиции.

Когда переселенцы приблизились и остановились в нерешительности, именно этот молодой мужчина, первым сделал шаг вперед. Он чуть склонил голову – коротким, сдержанным движением, полным достоинства и уважения. Этот немой поклон был доброжелательным приветствием.

Переселенцы, уставшие, пыльные, с малыми детьми на руках, на миг замерли. А потом, словно приняв безмолвный знак, хором кивнули в ответ.

– Меня зовут Бимагамбет, – представился он на чистом русском. – Я молда и муғалим – местный духовный наставник, и учитель грамоты...



Неизвестно, о чем именно тогда был их разговор. Уже днем позже, на пологом берегу реки, начали расти первые три мазанки. Солнце палило беспощадно. Повозка, нагруженная дерниной, скрипела, подъезжая к месту будущего жилища. Из степной дернины переселенцы нарезали длинные пласты – аккуратные, прямоугольные «кирпичи», из которых неторопливо выкладывали стены. Дёрн, переплетенный корнями трав, был прочен, как настоящий камень, и хорошо держал форму. Мужчины укладывали пласты один к одному, плотно притаптывая их сапогами и лопатами, чтобы стены не распались – словно скирдуя землю в прочную плоть будущего дома. Дверные проемы на время подперли косыми жердями, окна оставили маленькими – чтобы зимой не уходило тепло.

В первый же день к строительным работам переселенцев новороссов присоединились и местные жители. Они подносили привязанные к палкам ведра с водой подавали на верх дерн и жерди. Разговаривать друг с другом почти никто не мог: местные и малороссы общались на пальцах, жестах, улыбками. Понимание рождалось где-то глубже – в глазах, в поступках, в общем труде и усталости.

– Вместе легче, – сказал Бимагамбет маленькому в росте Пономаренко, передавая тому охапку сухой травы для крыши.

А вечером, когда жара спала и над степью растеклась прозрачная синева, все собрались у первого общего костра. Огонь потрескивал в сухих ветках, отбивая в темноте неровные световые пятна на лицах. Река неподалеку шептала свою бесконечную песню, а ветер, впервые за день ставший ласковым, тихо шевелил высокую траву.

Симоненко достал последний кусок черного хлеба, а Пономаренко – три яйца – ему удалось перевезти на новое место с собой десяток курочек с петухом. Кочевники из своих юрт принесли сушеный творог, куски вяленого мяса и кувшин с айраном.

И в этой немногословной трапезе, под звездным небом, родилась их первая настоящая община – скромная, бедная, но полная силы и доверия.

В округе это поселение стали называть «Отрубной». Нигде это название не было закреплено на бумаге, но все знали: именно здесь три беднейшие семьи из Золотоноши навсегда «отрубили» связь со своими прежними земляками...



*семья Макеновых*

*Венец из судеб*

Пути людские не знают прямой линии. По большей части они извилисты. Каждый идет своей дорогой, но неизбежно с кем-то пересекается — и это называется судьбой.

С берегов Дуная, в ветреные казахские равнины занесет потомка Йозефа Сельёши — молодого мадьяра, солдата венгерской армии. Он думал, что погибнет под Лембергом, но лишь полвека спустя найдет свой упокой на кладбище у маленькой станции Аккемир...

Вторая дорога, по которой будут брести, запряженные в тележки, волы, приведет в те же края и Соню Каркишко. Она родилась в окраинном поселении Зеленьки, что вскоре сольется и станет частью матери городов русских — холмистого, златоглавого Киева...

От малоросского слова «кохане» — «любимая» — происходила их фамилия. Когда-то она звучала как Коханый, потом стала Коханов, пока, наконец, не сократилась до простого, но звучного — Кохан. Семья Феклы и Марка Кохан переселилась из Полтавской губернии в Россию, а уже оттуда — в Казахстан. Там, на берегу реки Илек, среди плодородных земель Отрубного, разделенных посадками вербы на квадраты, они стали батрачить на зажиточных кулаков...

Все эти семьи, все эти фамилии — как стежки и узоры на единой, яркой вышиванке жизни. Каждая нитка имеет свой цвет, свой рисунок, свою боль и радость. Рассеянные по степям и окраинам, гонимые войной, нуждой и бедами, идущие разными дорогами, они сойдутся на берегу казахстанской реки Илек — где их судьбы сплетутся в общий венец одной истории.

\*\*\*

Виноградовы. Лето шло на убыль. Под Бродами, восточнее Лемберга, на выжженных галицийских полях, у самой границы с Волынью, пахло гарью и чабрецом. Этот запах — горький и теплый — успел ощутить венгерский солдат, прежде чем осколок артиллерийского снаряда пронзил его плечо. Он упал лицом в горячую землю, вдыхая ее, как будто она могла вернуть ему силы. Попробовал подняться, но тело не слушалось.

Двадцатичетырехлетний хонвед, рядовой мадыарской пехоты, лежал на поле сражения — там, где шло крупнейшее наступление русской армии в Первой мировой, то самое, что потом назовут Брусиловским прорывом.

Кровь текла по руке — горячая, липкая. Солдат уже не слышал стрельбы — только жужжание кровожадных мух.

— *Nát eljött a véged...* — выдохнул он обреченное: «Ну вот и твой конец».

Солнце клонилось к западу, и вместе с ним подкошенной оказалась его жизнь. Вдруг стало даже легко, будто все самое страшное уже случилось. Тишина накрыла поле, и свет померк...

Очнулся он под звон — будто кто-то далеко бил в стеклянный колокол. Сначала подумал, что это смерть, но вместо мрака увидел белый потолок и солнечный луч. За окном шелестели темной листвой каштаны, по краям уже тронутые желтизной. На ветвях медленно раскачивались колючие шары плодов.

Сестры милосердия говорили по-русски — мягко, но чуждо. Раненый солдат глубоко вдохнул — впервые без боли. И в тот момент понял: закончилась не жизнь, а только война. Об этом говорила тишина окраины уездного поселения. Госпиталь Красного Креста находился в Белой Церкви — старинном городе к югу от Киева.

Видимо, заметили, что он пришел в сознание. К кровати подошла медсестра — вся в белом, легкая, как тень, — и заботливо поправила на нем одеяло. Пациент невольно встретился с ее серыми глазами — спокойными и теплыми.

Она улыбнулась по-доброму и провела ладонью по его щеке, заросшей густой, грубой щетиной.

— Хочешь попить? — медсестра поднесла кружку.

— *Víz.* — он понял, что там — вода.

Вскоре в палату вошел человек в сером кителе — с папкой под мышкой и чернильницей в руке. Он постоял у порога, огляделся и направился к венгру. Бесцеремонно присел на край кровати, шелкнул пером по чернильнице и, ткнув пальцем в больного, спросил:

— Имя?

— *Pál Szőlősi...* — мадыар догадался, чего от него хотят. — *József fia.*

Писарь поднял брови.

— Не понял. Повтори.

Мадыар указал на тумбочку соседа, на которой стояла тарелка с гроздьями дикого винограда:

— *Szőlő... szőlősi.*

— А, виноград, значит? Ну, пусть будет Виноградов.

— *Pál,* — тихо добавил раненый.

— Пал? — переспросил тот. — Пал Палыч, что ли? Значит пишем Павел. Павел Виноградов.

Писарь задумался, глядя в карточку:

— А что значит, как ты там сказал... Йозеффиа? По батьке, поди. Типа Йоська, — пробормотал он. — Значит, Иосиф. Это имя твоего отца?

Новоиспеченный Павел не понял, но когда писарь повторил:

— Папа? Тато? Твой батько?

Он закивал, радуясь, что догадался, о чем речь:

— Igen, apám József. — (Да, папа Йозеф.)

Так в госпитальном журнале появился новый пациент. Высокий, смуглый, с темными глазами мадьяр — Szőlősi Pál József fia — стал Павлом Иосифовичем Виноградовым...

Иногда перед сном ему все еще чудилось — будто он снова дома, в Пече. На юге Венгрии, среди мягких холмов Мечек, где вино пахло солнцем, а улицы были вымощены камнем, блестящим после дождя, как чешуя рыбы. Там смешивались голоса — венгерская речь, немецкая, хорватская — все звучало напевно, будто старинная песня, которую никто не писал, но все исполняли.

По утрам в городе звонили колокола кафедрального собора, и их звон перекликался с криками торговцев на площади, с визгом колес телег, с лайом собак. А порой, сквозь этот шум, доносился протяжный, певучий голос имама, зовущего с высоты минарета верующих к намазу.

Все эти звуки — колокольный перезвон, рыночный говор, далекая молитва — сплетались в живую ткань города, где Восток касался Запада, а жизнь текла в своем неспешном, солнечном ритме.

Мать Павла выращивала виноград прямо у стены дома, и когда ветер проходил сквозь лозу, в воздухе стоял сладковатый дух ягод и известики...

Вскоре его побрили. Делала это медсестра — ловко, без суеты, словно всю жизнь ухаживала за солдатами. Звали ее Лукерья. Вдова. Муж погиб на фронте, оставив ей двоих сыновей — Григория и Александра. Она говорила мало, но глаза ее, светлые и усталые, умели улыбаться. Павел чувствовал, как под ее руками с лица исчезают щетина и тень недавней боли. Мир, казалось, возвращался к нему вместе с ее прикосновениями. Постепенно между ними установилась простая, теплая близость — не словом, а взглядом, привычкой, тем, как она поправляла подушку или подавала воду.

Когда пациент окреп и встал на ноги, его должны были перевести в лагерь для военнопленных. На прощание он подошел к ней ближе и, явно обдумывая каждое слово, негромко произнес — с заметным акцентом:

— Ты хороша жена. Я муж нормальный... дом строить...

Лукерья растерянно посмотрела — не то от неожиданности, не то от смущения.

— Так у меня ж дети...

Павел улыбнулся в ответ:

— И ешо будет... много дети.

Женщина отвела взгляд и рассмеялась — впервые за долгое время по-настоящему.

— Эх, мадьяр, — сказала она, качнув головой.

— Нет, — ответил он. — Теперь Виноградов.

Пленному венгру разрешили остаться, но подальше от фронта — на задворках бывшей империи, в степных просторах киргизского края. С приходом теплых месяцев весны они вчетвером двинулись в путь...

Когда-то оказались в селе Илекский, Актюбинского уезда Тургайской области. Почти все жители этого маленького казахстанского поселения были выходцами из уездного города Золотоноша Полтавской губернии Российской империи. На новой земле, среди ветров и просторных степей, они настойчиво добились, чтобы и их поселок носил то же имя — Золотонош. Так память о далекой малоросской родине обрела новое дыхание в сердце казахской степи...

Конец апреля. Солнце уже не жгло — оно лишь касалось земли, пробуждая ее от зимней спячки. Но ветер все еще был колюч, пахнул снегом и тянул за полу кафтана. По утрам все серебрилось инеем. От конской сбруи шел пар. Такой же поднимался и над проталинами — будто дыхание самой земли.

Семья Виноградовых работала, не покладая рук. Павлу было двадцать пять — высокий, широкоплечий, с вихревым чубом и усами, мадьяр мадьяром. Когда-то солдат, теперь — землелепец. Он подавал наверх тяжелые, влажные кирпичи дерна.

Лукерья стояла в стороне, придерживая живот. Беременная, в платке, с заткнутым за пояс фартуком, она следила за ними с усталой, но светлой улыбкой. Ветер трепал ее косынку, солнце отражалось в глазах, в которых смешались тревога и надежда.

На крыше, запачканные глиной, мальчишки — Григорий и Александр, ее сыновья от первого брака, десятилетний и двенадцатилетний — укладывали пласты, прижимая их голыми ладонями. Каждый кусок дерна — как часть их будущего: кров, тепло, дом, где можно будет просто вздохнуть и не идти дальше.

У воза фыркала лошаденка. Пахло влажной землей, соломой и дымом костра, где теплится огонь и кипела каша. И в этом ветреном апреле, на краю казахской степи, где земля только начинала дышать теплом, рождался их дом. Рождалась семья. Рождалась новая жизнь...

У Павла и Лукерьи в Золотоноше появятся на свет трое общих детей — Николай, Нина и Рая...

Главе семьи было уже под сорок. Как и большинство жителей Золотоноши, он был вынужден вступить в колхоз и сдать туда все свое имущество. Лишь за рекой, на прибрежных заливах Илека, еще оставались частные владения зажиточных односельчан — тех, кого большевики уже окрестили «кулаками».

Вечерами семья собиралась у огня: Лукерья тихо напевала свои украинские песни. Нина шила кукле платье. Николай строгал ветку — мастерил рогатку, какой пацаны обычно стреляли камешками в голубей, что слетались к колхозному току за пшеницей. Двухлетняя Рая засыпала у матери на руках, слушая голоса домочадцев и треск угольков в печи.

Жизнь, казалось, вошла в свое русло — степь и соседи стали ближе и роднее, земля платила хлебом за труд и пот.

Но весной, когда солнце стало мягче, а в небе потянулись журавли, Лукерья вдруг занемогла. Ночь выдалась безлунной. В хате стоял полумрак. Керосиновая лампа под потолком тускло освещала побеленные стены, по которым от легкого сквозняка шевелились тени.

Лукерья лежала на узкой кровати, едва дыша. Пот с висков вытирала соседка, а в углу, прижимая к себе сонную Раю, сидела Нина. Николай стоял у двери, не решаясь подойти. Павел метался между кроватью и порогом, не зная, чем помочь. В хлеву, за стеной, протяжно мычала буренка, недоенная с вечера, — будто чуяла беду в доме.

Повитуха склонилась над женщиной, чья беременность уже не скрывалась. Что-то шептала ей, трясла за плечо, осторожно массируя округлый живот...

Когда-то Лукерья все же открыла глаза — на миг, будто собираясь что-то сказать. Губы дрогнули. Пламя лампы качнулось, и в тишине послышался ее последний выдох...

Супруг стоял, опустив голову. Долго не шевелился. Потом тихо сел рядом и взял ее ладонь — остывшую, но все еще родную. Не находя слов, просто коснулся губами к ее волосам и шепнул по-своему, по-венгерски:

— Aludj csak... jól van. (Спи... все хорошо.)

Так трагично семья Виноградовых породнилась с землей казахстанского уголка, что носил название Золотонош...

\*\*\*

Местечко, где в начале прошлого столетия жила семья Лука и Ярыны Каркишко, они сами называли Зеленьки. Но это было совсем не то село Зеленьки, что находится в девяноста километрах южнее Киева. Согласно легенде, 27 июля 1859 года там остановился на ночлег арестованный Тарас Шевченко, гонимый по этапу, и записал от местного жителя Данила Сучка народную песню «Ой п'яна, я п'яна».

Поселение Зеленьки, где у Каркишков родились четверо детей — Николай, Иван, Софья и Мария — располагалось всего в двенадцати километрах от Киевской Лавры. Каждое воскресенье и в праздничные дни семья ходила туда пешком на молебен.

Ни родители, ни дети Каркишко особенно набожными не были — верили по-своему, тихо, без показной молитвенности. Посты соблюдали скорее как обычай, чем как долг, а в храм ходили, будто на праздник. Киево-Печерская лавра манила их не столько молитвой, сколько величием — словно иной, неземной мир, вознесенный над киевскими холмами.

Когда их семья подходила к монастырю, дети замирали, глядя вверх: золотые купола слепили глаза, солнце отражалось в каждом кресте, и казалось, будто само небо спустилось на землю. Их никогда не пугала длинная дорога — двенадцать километров туда и столько же обратно. Шли всей семьей, через луга и песчаные бугры, неся в узелках пироги и воду. Для них это было не паломничество, а праздник: возможность увидеть город, людей, услышать музыку колоколов и пение церковного хора.

Колокольный звон тек над Днепром — густой, переливчатый, словно живой. Он входил в сердце, тревожил, заставлял верить, что есть где-то сила, выше и чище любой земной заботы. Для детей это было чудо, для взрослых — утешение. И все вместе они возвращались домой молчаливые, словно каждый уносил с собой частицу того света, что сиял над Лаврой...

Их село Зеленьки вскоре исчезнет — будет поглощено разрастающимся Киевом. Но для многодетной, безземельной, нищей семьи там уже не останется места. Им придется искать новое.

Мимо их лачуги в те годы бесконечно тянулись людские колонны: кто — на восток, кто — на юг, в поисках хлеба и земли. Говорили, что за Волгой и дальше, в киргизских степях, просторы бескрайние, земля плодородная, бери да выращивай свой хлеб.

В 1910 году в дорогу решила двинуться и семья Каркишко. Переселенцы из Украины ехали медленно, на паре быков, запряженных в скрипучую телегу. Поверх нехитрого домашнего скарба сидели их дети — Николай, Иван, Михаил, Мария и младшая, пятилетняя Соня...

Долгим и нелегким был путь — пока, наконец, не вывел их в Актюбинский уезд Тургайской области, на земли, некогда принадлежавшие Оренбургской губернии. Здесь, по Столыпинской реформе, словно грибы после теплого дождя, один за другим выросли новые поселения.

Один из переселенческих участков назывался Шолак-Тамды. Там семью Каркишко определили в поселок Романовское.

Дорога шла мимо цветущих сел, окруженных зелеными огородами: Богдановка, Семеновка и Павловка. Белели ровные ряды глинобитных, недавно побеленных хат. В последнем селе выделялись пять деревянных домов и глубокие колодцы. Над всеми домами возвышалась церковь — новая, светлая, с простой деревянной колокольной.

— Первым делом ее поставили, — пояснил путеводитель из местных, крепкий мужик в картузе. — За год управились. В седьмом году уже стояла. На праздники сюда добираются прихожане из Тамдов, Аккемира, Золотоноши, Шибавки, Петровки... да и из других деревень. Школу начальную при ней открыли, это уже в восьмом году вроде.

Он снял картуз, вытер лоб и, будто вспомнив что-то важное, добавил:

— А мельницу братья Лаврушевы ставили — Николай с Капитоном. Детали и механизмы, что для нее нужны, доставили через степь, на волах, аж из самой Украины. Потому мука у нас особенная — белая, легкая. Мы зовем ее «тридцатка». Хлеб из такой муки — пышный, душистый. Поди, что и сам батюшка царь не постыдился бы такой отведать.

Позже Лука и Ярына с детьми обоснуются в Новоукраинке, где станут работать в колхозе «10 лет Октябрьской революции». Со временем это название так прижилось, что и саму Новоукраинку в округе стали звать просто — «Десятилетка».

Дети подрастали. Братья, старший Николай и младший Иван Каркишко устроились на работу и вскоре завели собственные семьи в Кандагаче.

Сестры и младший брат Михаил перебрались жить ближе к стальным путям — туда, где шумят дороги, где среди гудков и огней кипит новая жизнь, совсем не похожая на степное захолустье.

Младшая дочь Мария вышла замуж за Гавриила Федоровича Корнева. Он был человек веселый, неугомонный, «шубутной», как говорили в селе — все время в движении, с бесконечными идеями, но редко задерживался надолго где бы то ни было.



*в центре Мария Каркишко, справа ее сын Виктор Корнев.*

Гаврюшка, как его звали домочадцы, прожил с семьей недолго — будто ветер пронесся и исчез. Осталось лишь одно его фото: молодой, в шинели, с упрямым взглядом и чуть насмешливой улыбкой.

Похоже, сын его, Виктор Корнев, весь в отца — тот же живой характер, тот же огонек в глазах.

А вот старшая дочь в семье Каркишко — Софья, стала супругой Федора Солодова, секретаря партячейки железнодорожного разъезда № 44.

В первые же дни их совместной жизни супруг-коммунист проявил свой нрав. Федор стоял посреди комнаты, указывая пальцем на красный угол:

— Сними. Все. Сейчас же!

— Что все? — не поняла Софья.

— Иконы, — сказал он жестко. — Сожги.

Она растерялась, прижала ладони к груди, словно защищая то, что было дороже слов.

— Так они ж мне от бабушки, в наследство... — вымолвила едва слышно.

— Наследство? — передразнил он. — За такое «наследство» мне тюрьма светит.

Он подошел ближе, и в его взгляде была не злость — страх, тревога, которая тогда жила в каждом.

— Хочешь со мной жить - убери.

Когда он ушел, Софья долго стояла у икон. Она сняла одну, потом вторую, завернула в рушники — аккуратно, будто укладывала детей спать.

Но не сожгла. Не выкинула. В самом низу комода, в шухлядке, куда редко заглядывали, она сложила все вместе, завалив сверху лоскутами, старыми платками, мотками ниток. «Пусть полежат, — подумала она. — Может, еще пригодятся...»

Средний сын, Михаил Каркишко, взял в жены девушку по имени Шурочка — так он всегда ее и называл. Они всю жизнь прожили в Алге. У них был красивый, ухоженный дом с цветущим палисадником, благоухающим летом. Шурочка гордилась своим огородом — все у нее было в порядке, на зависть соседям. В их доме чувствовалось зажиточное благополучие, все выглядело основательно и даже богато — не так, как у большинства родственников Каркишко.

Шурочка, как говорили о ней, немного сторонилась родни мужа. Казалась людям «чересчур заботливой», а сама считала себя женщиной интеллигентной.

Михаил трудился на заводе, на каком именно — никто не знает. Жили они бездетно, в достатке. Когда и как умерли — никто уже и не вспомнит...



*Павел Виноградов, внучка Галя Кохан, Софья,  
Шурочка и Михаил Каркишко в их цветущем палисаднике.*

Дорога увязла в грязи. Небо низкое, свинцовое; дождь идет с самого утра — то моросит, то снова хлещет, будто не хочет отпускать уходящее лето. Одинокая крытая телега пробирается по разбитому тракту. Колеса хлюпают в лужах, глина липнет к деревянным спицам и к лошадиным копытам. Кобыла, старая и исхудавшая, тянет возок с упрямым терпением. Грива свисает мокрыми сосульками, под темной, блестящей от дождя шкурой виднеются ребра и острые кости крупа.

Ослабленные вожжи — в крепких руках дородной женщины. Широкие ладони держат их уверенно, но она не подгоняет лошадь. Лицо спокойное. На ней потертый пиджак, на голове — платок, концы которого развеивает ветер.

По обочинам дороги — пожухлые травы, редкие кусты и деревья, почти оголенные: последние листья цепляются за ветви, как за жизнь. Женщина чуть подается вперед, вглядываясь в дорогу, оценивая взглядом глубину колеи.

За ее спиной — мужчина с гармошкой. На нем рубаха из толстой, грубой ткани — будто гимнастерка, застегнутая наглухо под горло. На голове — старый картуз, надвинутый на лоб и чуть набок. Лицо обветренное, широкое, с грубоватыми чертами, но, по-своему, доброе. Борода редкая, светлая, давно не стрижена — как у того, кому не до зеркала. Из-под нависших бровей глядят усталые, но не потухшие глаза. Там все еще теплится живость.

Рядом с ним сидит маленькая девочка — лет трех, не больше. Худенькая, болезненная, с бледным личиком, на котором лоб и глаза кажутся непропорционально большими. В этом взгляде — что-то взрослое, настороженное, будто она чувствует больше, чем может понять.

На горизонте, в сером мареве дождя, вырастает деревня. Над покосившимися избами поднимается деревянная церковь — с потемневшими стенами и резными куполами, что тускло блестят от влаги.

Мужчина играет тихую, тоскливую мелодию. Извозчик оборачивается, бросая через плечо:

— Марчику, годі вже бречать! Дивись — село ж поряд. Не дай, Боже, подумають, що ми цигани, та ще й собак на нас науськають!

Марк усмехается под влажными усами, не переставая перебирать меха гармошки:

— Кохана моя, Феклуша, та вони ж і без музики нам дверей не одчинять. До столу — тим паще не покличуть. Народ тута ще злючей, чим у нас, у Полтаві. От би нам, Господи, цілими да здоровими до киргизів добраться... Там, молвлять, люде добріші та простіші.

— Мамцю, а сьогодні їсти буде? — спросила девочка тоненьким, жалобным голоском.

Фекла в полоборота дотянулася рукой и погладила дочку по голове, покрытой толстым платком.

— Потерпи, Клабочка, дитино моя, — сказала она ласково. — Остановимось на ночлег, сварим якусь кашу... хоч трішки поїмо.

\*\*\*

Клавдия была им не родная. Фекла долго не могла забеременеть — все надеялась, все ждала, но каждый раз Господь будто отворачивался. Один за другим случались выкидыши.

Перед самым отъездом ее надоумила свекровь — взять к себе на воспитание чужого ребенка. И действительно, собираясь в дальнюю дорогу, Фекла зашла к соседям — многодетной, безземельной семье, где ребяташки, как горох, сновали по двору босые и оборванные.

— Старших не оддам, — устало махнула рукой обессиленная, отчаявшаяся мать. — Самим помічники треба. А з менших — бери кого хочеш, хоч усіх...

Фекла выбрала самую тихую — с тонкой косичкой и большими, настороженными глазами. Девочка не плакала, не просилась обратно.

— У чужому краї хто ж узнає, що вона не нашенська. — одобрительно сказала пожилая свекровь, благословляя выбор своей бездетной снохи...



*На переднем плане — Фекла и Марк Кохан. Позади, слева, виднеется человек в кубанке — Кибин. Когда-то он работал в Аккемирском сельсовете. Народ вспоминал о нем с усмешкой: именно Кибин частенько сам придумывал новорожденным их даты рождения — «чтоб красиво вышло». Говорили, он любил приурочить рождение ребенка к какой-нибудь большой дате — к Октябрю, к Первомаю или хотя бы к дню рождения вождя...*

В этот миг над округой разлился звон — чистый, высокий, будто сам воздух задрожал. Колокола на дальнем холме били не спеша, размеренно, и звук их, смешиваясь с ветром, катился по пожелтым полям, по лужам, по мокрым кустам.

Девочка прислушалась и опустила глаза — знала, что до вечера еще далеко, а значит, и кашу придется ждать долго.

Марк вскинул голову и, не удержавшись, потянул меха гармошки. Звук родился тихо, нерешительно — а потом зазвучал в унисон колоколам: настойчиво, звонко, будто споря с небом. Мужчина вдруг засмеялся, выкрикнув против ветра:

— Слушайте, люди! Музыкальне здрасте од сім'ї Кохан! — крикнул Марк и выжал из гармошки целую бурю звуков, будто хотел, чтобы его услышала сама земля.

— Грай, синку, грай — хай дорога веселіша буде! — подал голос из-под тента его старый отец, Федор Леонтьевич Кохан, и потянул смычком по струнам старенькой скрипки.

Звуки двух инструментов слились в один — радостный, дерзкий, перекликающийся с ветром и колокольным звоном вдали...

Телега остановилась у каменного здания с высоким, подбитым инеем фундаментом и деревянным крыльцом, резным, но давно посеревшим от ветров. Над входом, под облупившейся жестяной вывеской, крупными буквами читалось: «Переселенческое управление Шолак-Тамды, Актюбинского уезда».

Вокруг лежал снег — плотный, сбитый, почти по колено. Меж сугробов тянулась узкая, выметенная тропинка, ведущая к двери. Воздух был неподвижен и морозен, так что даже дыхание лошади клубилось в густом паре. Распрягать ее не стали — лишь привязали к одинокому карагачу, высокому, с голыми ветвями, с которых сыпался сухой иней.

Внутри оказалось неожиданно светло. Сквозь обледенелые окна падали полосы солнечного света, в которых медленно плавали золотистые пылинки. В углу стояла высокая круглая печь — из жженого кирпича, обитая потемневшим железом на заклепках. Сквозь щели в дверце пробивался тусклый огонь, слышалось тихое потрескивание угля. Толку от нее, впрочем, было немного — жар не доходил до середины комнаты, и воздух оставался ледяным.

Рядом, за столом, сидел маленького роста чиновник. Сутулый, в овечьем полушубке, из-под которого все равно торчали острые, будто деревянные, плечи. На голове — ушанка, а на руках — рукавицы.

Он продолжал писать, не поднимая глаз. Его дыхание поднимало легкие облачка пара. Когда он все же соизволил заговорить, его голос оказался неожиданно басовитым, с металлической хрипотцой:

— Имя, фамилии? Откуда?

Марк снял картуз, потоптался у двери, глядя вниз на растаявший снег под ногами.

— Марк Кохан з жінкою Фьоклюю. Ми с Полтавы будэмо.

— Сколько вас?

— Дочь Клавдия... Троє получаемось.

Чиновник пролистал журнал, провел пальцем по строкам и, не глядя, буркнул:

— Поедете жить в Золотонош. Чуть более двадцати верст отседова.

Он поставил размашистую подпись, встряхнул бумагой и протянул Марку направление. С улицы донеслось нетерпеливое ржание лошаденки — заждалась, притопывая копытом о наст. Фекла перекрестилась, шепнув что-то едва слышно. Марк поднял глаза к потолку, точно благодарил Бога за то, что их долгий, бременный путь наконец остался позади...

В Золотоноше им, как оказалось, жить было негде. Мужик, что принимал переселенцев, глянул на Марка с Феклой и развел руками:

— Так ви ж, люди добрі, з дуру, глядь, на зиму приїхали... Парцель вам, канешно, полагається, но де ж я вам її зараз покажу? От сніг зійде — тоді й подивимось, де хату ставить.

— А зараз, — он почесал затылок, — і не знаю, куди вас визначить. Хіба шо до Гаврилова, того, шо з Самарської губернії. Чоловік він жалостливий, має велике господарство на тому березі. Хутір його Отруб зветься. Гляди, може, й на роботу вас візьме — на прожиття...

До Отрубного они добрались под вечер. Снег к тому часу слежался, дорога стала крепче, и лошаденка, будто почувяв конец пути, пошла бодрее. Пришлось переехать по льду через реку.

— Илек называется, — подсказал тот же ответственный за переселенцев, сопровождавший семью Кохан верхом на мерине.

Вдали показались плоские крыши длинного строения с редкими маленькими оконцами и одними воротами вместо дверей. Поверх постройки лежал толстый, почти метровый пласт снега. На углу, из единственной высокой трубы, выложенной из жженого кирпича, тянулся в

небо сизый дым. Воздух наполнился запахом навоза и свежей соломы — живым, деревенским духом, после долгой дороги почти родным.

Отрубной стоял у самого побережья. Парцели здесь были ровные, квадратные, разделенные деревьями вербы. За оградой громко лаяли собаки, по двору металась тень людей. Из ворот тяжелой поступью вышел высокий мужчина в полушубке, с белой бородой. Он пригляделся к приезжим, снял рукавицей ледышки с усов и крикнул басом:

— Что вас в столь поздний час к нам привело?

Местный проводник с высоты седла поспешил ответить:

— Пан Гаврилов, будьте здоровы. Ради Бога, смилуйтесь. Тута переселенцы из Полтавы, с дитем. А жить им нигде.

Марк Кохан спрыгнул с воза, потоптался на месте, чувствуя, как промерзли ноги.

— Здравия вам, пан, — сказал он, неловко кланяясь. — Нам казали... ви, може, роботу дасте. На прожиття.

Золотоношский, сопровождавший их верхом, добавил:

— Хоть би до весни, пане Гаврилов. А там, гляди, й хату собі збудують.

Мужчина долго молчал, разглядывая телегу, усталую женщину, прижимающую к себе худенькую девочку. Потом тяжело вздохнул и нехотя кивнул:

— Разве что тут, при хозяйстве... В хлеву. У меня в поселке свободной избы нет. Сами теснимся в трех комнатах.

— А шо пан сам не живе тут, на хуторі? — осмелился спросить Марк.

Гаврилов перевел взгляд с лошади на спросившего и с легким вздохом ответил:

— Это не хутор, а отруб. На хуторе живут и работают, а на отрубе только хозяйство держат.

Он махнул рукой в сторону длинного сарая:

— Вот ты и будешь ночами здесь сторожить. Скоро коровы телиться начнут — работа найдется.

Марк слушал, не веря своему счастью.

— Спасибо, пан, — выдохнул он и поспешно перекрестился, глядя в серое небо. Потом еще раз, ниже, поклонился — раз, другой, словно благодаря не только человека, но и саму судьбу.

— Дай вам, Боже, здоров'я... — пробормотал он.

Фекла тихо вытерла лицо рукавом, еще крепче прижимая к себе дочку. А Гаврилов, глядя на них, лишь кивнул коротко — будто понимал, что перед ним люди, которых жизнь уже успела хорошо испытать.

— Там, в хлеву, закуток есть, — сказал Гаврилов, указывая рукой. — Печка стоит, где свиньям варено готовим. Тепло. Повесьте занавес — и будет вам свой угол...

\*\*\*

В один из следующих дней Марк управлялся по хозяйству, чистил и вытаскивал из стойл навоз. Фекла перед тем, как начать доить корову, подсыпала в ясли жмень отрубей — ту самую труху из твердой оболочки зерна, что остается при помоле муки. Корове этот запах был по душе: она хватала подкормку шурша губами и при дойке стояла уже спокойнее.

Этот же запах почувствовала и маленькая Клава. Она тихо прошла в обход коровы, между стойлами, где стоял жеребец. Хотела всего лишь заглянуть — взять щепотку того, что так вкусно пахло. В этот миг послышался короткий, глухой звук — будто по доске ударили поленом.

Фекла обернулась — и мир стал неподвижен. У противоположной стены, в полутьме, неподвижно лежало что-то маленькое. Мать сначала не поверила — взгляд не слушался, будто отказывался принять увиденное. А потом различила — подломленные ручки, платочек сбившийся на бок...

Она выронила ведро, которое глухо стукнулось об утоптанную землю и покатилося, расплескивая теплое молоко. Уже на бегу Фекла споткнулась, ударилась плечом о доски стойла, но не почувствовала боли. Только сердце стучало в висках.

Гаврилов прибежал из другого конца хлева. Марк — со стороны дверей. Оба остановились, не сразу поняв, что произошло.

Коровы тревожно переступали копытами, жеребец ржал, мотая головой, а издали, со двора, доносился лай собак. Фекла стояла на коленях, не плакала. Только покачивалась вперед-назад и шептала что-то глухо, неразборчиво, будто уговаривала саму судьбу. Марк снял картуз и опустился рядом. Он не знал, что сказать. Любые слова здесь были бы кощунством. Лишь тихо перекрестился, глядя вниз, — и этот жест стал первой молитвой за их новую жизнь, которая началась с утраты приемной дочери...

\*\*\*

Семья Кохан думала только лишь перезимовать на Отрубном, а осталась — на долгие годы. Гаврилов держался за своих работников — Марка и Феклу. Они не ленились: день и ночь хлопотали по хозяйству, знали каждую скотину, каждое ведро, каждую трещину в стенах хлева. Старики Кохан тоже помогали, кто чем мог: дед Федор Леонтьевич правил упряжь, его бабка хлопотала по двору, сушила травы и пекла хлеб впрок.

Со временем хозяин не только оценил их труд, но и по-человечески привязался. Разрешил построить при хлеве собственное жилье — из саманных кирпичей, с двумя комнатами и настоящей русской печью, от которой по вечерам шел мягкий, уютный жар.

Тогда и случилось то, чего Фекла не ждала уже много лет: она забеременела. В 1919 году родился мальчик. Марк поднял сына на руки и сказал с гордостью:

— Нехай буде Михайло.

С тех пор хата Коханов оживала все больше. За Мишей один за другим появились девочки — Вера, Катерина, Зина, Мария и Шура. Младшим родился тоже сын.

— Буде Федір. Як дід.

Так в суровой степи, среди ветров и холода, семья пустила корни. И земля, что когда-то встретила их как чужих, теперь знала их по именам...

\*\*\*

Солодовы. За окнами метель стелила по путям, завывала в щелях, как живая. В небольшом здании родильного отделения пахло йодом и углем. Керосиновые лампы дрожали на подоконниках.

Софья стонала, вцепившись в простыню. Сквозь стекло доносились глухие гудки и дребезжащие сирены — тянулись, рвались, откликались эхом в груди. В палату ворвалась запыхавшаяся акушерка — в мокром от снега платке, с покрасневшими глазами.

— Ленин умер... — выдохнула она и, прикрыв рот ладонью, зарыдала.

Боль роженицы смешалась со страхом, со смутным предчувствием ужаса — и в тот миг Софья закричала изо всех сил. Гул сирен слился с ее криком, и среди этого шума вдруг послышался тонкий детский голосок.

Родилась девочка. Вера. А за окном все еще подвывали паровозы — будто сама страна, скорбя, приветствовала новое дыхание жизни. Через год у Софьи появилась Мария. Еще через год — Валя. Жизнь, несмотря ни на что, брала свое...

Все ждали этого дня, готовились заранее — как к настоящему событию. Стирали и гладили свои чуть ли не единственные одежды, перебирали пуговицы, подшивали рукава, примеряли обувь. Ведь фотографироваться — дело важное, почти торжественное, будто предстать перед самим временем, оставить себя в нем навсегда.

Фотоателье оказалось небольшой комнатой с высоким окном, через которое мягко сочился пыльный свет. На стене — расписной фон с изображением лестницы и колонн, сбоку — штатив, накрытый темным покрывалом, под которым прятался сам фотограф. Пахло керосином, фотопорошком и чем-то сладковатым — будто старыми альбомами. Фотограф, сухой и неразговорчивый, ловко наклонялся под свой черный полог, мельком глядел на всех и глухо приказывал:

— Не двигаться... смотреть прямо...

И в тот миг все застывало. Кажется, даже воздух. Мать, сдержанно выпрямившись, держала на коленях младшую — Валюшу. Отец, в форме путейца, чуть нахмурился, будто сам себе приказывал быть строгим. Дети стояли ровно, но глаза их блестели — от удивления и восторга.

Только Валюша выбилась из этого общего напряжения. Насупив брови, она отвернулась от объектива.

— Не капризничай, — тихо, но требовательно сказала мать. — Сядь правильно.

Девочка не ответила. Нет, она не заплакала. Просто осталась в своем — крошечном, гордом — упрямстве. Сидела на маминых коленях, в белом платьице, отвернувшись. Не видела ни фотографа, ни блеска магниевой вспышки. Смотрела в сторону отца — настороженно, серьезно, будто хотела что-то сказать, но слов еще не знала. И в этом ее взгляде — все: и любовь, и страх, и тайное, детское предчувствие, которое не поддается объяснению.

Софья достала из шкафа семейную фотографию. На снимке — они все вместе: Федор, строгий и уверенный; Мария с робкой улыбкой; и Валечка — крошечная, сидящая на маминых коленях. Снимок стар, местами выцветший, с трещинами по краям, но именно Валечка делает его живым. Поворот головы, взгляд мимо объектива — туда, где ее маленький мир держится за отца.

Федор Солодов был человеком строгим и собранным. Секретарь партячейки, он был хозяином своего слова. Его уважали и рабочие, и крестьяне — за прямоту, за умение слушать и говорить по делу. В округе его встречали с почтением: вежливый к старикам, решительный в разговоре, сдержанный в улыбке.

Спустя час после съемки он поспешил — нужно было ехать в дальний аул на заседание. Небо темнело, ветер гнал по степи пыль, железнодорожная дрезина стучала по рельсам. Федор торопился, думал о делах, о докладе, о людях, которых надо будет убедить. На одном из поворотов дрезину качнуло. Он неудачно прижал палец между рычагом и рамой. Пустыяковая, казалось бы, рана. Перевязал куском ткани, усмехнулся: «Не впервой». Но к вечеру палец опух, к утру поднялась температура. Сыворотки от столбняка поблизости не нашлось. Через два дня его не стало.

Степь стояла тихая, неподвижная, как в тот момент, когда в фотоателье застыла семья Солодовых перед вспышкой магниевового света. И тот снимок, где маленькая Валечка отвернулась от объектива и смотрела на отца, стал последним, где они были вместе.

Тот день оказался неудачным и для Софьи. Она надорвалась, таща на работе мешок с просом. Попала в больницу и перенесла тяжелую операцию. Хоронить свояка пришлось Марии Корневой. На кладбище закопали и как было принято положили камень на могилу. Кресты ставить запрещалось. Свояченица Федора тогда не придавала этому особого внимания. Сестре же, Софье, она и словом не обмолвилась на эту тему. Побоялась ей в таком состоянии рассказать о смерти мужа.

— Почему он меня не проведает? — бывало жаловалась больная.

— Так занят по работе, — увиливала от правдивого ответа сестра. — Да его сюда, в женскую палату, и не пустят.

И все же Софья узнала правду. В палате женщины шептались, думая, что соседка спит.

— Муж у той, с разезда, умер, — тихо сказала одна.

Софья все поняла. Когда в палату вошла сестра Мария, спросила спокойно, без упрека:

— Он... умер, да?

Корнева молчала, потом тихо кивнула. Софья не заплакала — только закрыла глаза и долго лежала неподвижно, будто прислушиваясь к чему-то внутри себя, к звуку, который оборвался.

Когда ее выписали, первым делом вдова отправилась на кладбище. Снег уже подтаял, в промоинах стояла талая вода. Вместе с сестрой они шли меж безымянных могил, каждая отмечена лишь простым камнем.

— Может, вот эта, — неуверенно произнесла Мария, глядя на неровный холмик. — Хотя нет... тогда тут еще не было других, — добавила она, растерянно озираясь по сторонам.

Софья стояла молча, прижимая руку к сердцу. Все камни казались одинаковыми — серыми, молчаливыми, без следа человеческого имени. Она ходила от одной могилы к другой, пока не опустилась на землю, усталая, растерянная, и прошептала:

— Где же ты, Федя... даже твоей могилы мне не оставили...

Ветер тянул подол ее пальто, вблизи гудели поезда. А камни лежали ровно, одинаково — будто сама степь взяла на себя заботу хранить покой здесь захороненных.

Коммунисты предложили увековечить память секретаря: разезд № 44 переименовать в станцию Федоровку. Но областные власти идею не поддержали. Место получило другое имя — казахское, гордое: «Алга», что значит «вперед»...

Поезд шел медленно, глухо постукивая колесами, будто уставший. Софье казалось — не быстрее лошадиной повозки. Всего-то пятьдесят километров до Актюбинска, а путь занял полдня.

А она спешила. На руках у нее лежала младшая дочь — чуть старше двух лет Валя, горячая, слабая, дышащая с сипом. Фельдшер на разезде сказал: нужно срочно в областную больницу. Софья молилась, чтобы только успеть.

Но не успела. В приемной Валя тихо обмякла, будто уснула. Медсестра, взглянув, лишь молча прикрыла умершего ребенка простыней. Софья долго сидела, не веря. Потом сама завернула крошечное тело в одеяло — то самое, которым укрывала ее по ночам — и пошла на станцию.

Поезд обратно шел все так же медленно. Всю дорогу женщину мучил страх: а если кто-то спросит, почему ребенок не плачет, не шевелится? Дифтерия — болезнь заразная, перевозить умерших было строго запрещено. Но никто не спросил.

Когда добралась домой, в семье не плакали — без слов последовали за Софьей на кладбище вблизи завода. Малышку похоронили в одну из безымянных могил под камнем. Лежал ли там ее отец — никто не знал. Но с того дня именно ту могилу семья считала своей родовой. Там поминали и Федора, и Валю — двух ушедших, чьи судьбы сошлись в одной земле, под одним ветром.

Когда все закончилось, Софья долго стояла у могилы, прижимая руки к груди. Ветер шевелил ее косынку, как будто кто-то невидимый тихо нашептывал ей в ухо.

Вернувшись домой, двадцатидвухлетняя вдова взяла со стола в руки семейную фотографию...

Младшая дочь одна не смотрела в камеру — повернувшись к отцу, будто хотела сказать ему что-то. Теперь Софья смотрела на этот поворот головы иначе. В нем было предчувствие — не детское, необъяснимое. Как будто маленькая Валя уже тогда знала: скоро и отец, и она покинут этот дом, эту жизнь, оставив матери лишь тишину и фотографию, где время застыло навсегда...

Будто вспомнив что-то давнее, хозяйка квартиры подошла к комоду. Тот самый, с облупившимися ручками, в котором уже годы хранилась ее тайна. Открыв нижнюю шухлядку, Софья долго рылась среди старья — платков, лоскутков, мотков ниток. И, наконец, нащупала там сверток, завернутый в рушник. Развернула — и увидела лики: потемневшие, но все те же. Христос, Богородица, Николай Угодник. Она осторожно поставила их на стол, прислонив к стене. Лампа мигнула, и по краскам икон пробежал отсвет — будто оживший свет веры, переживший все.

Софья опустилась на колени, перекрестилась — так, как когда-то учила ее мать.

— Сохрани их там, в небесах... — прошептала она. — И мне помоги... если можно...



Ленты венца

У малороссов пестрые ленты девичьего венца называли «стрічки». Они не просто украшение — скорее оберег и летопись судьбы. Каждая полоска атласной ткани в девичьем венце несет свой тайный знак — символ тех граней души, что наполняют жизнь человека: чувства, добродетели, надежды и ценности.

*Червона — кохання, зелена — весна,*

*Блакитна — надія ясна.*

*А біла стрічка — душі оберіг,*

*Щоб ангел хранив від лихих доріг.*

Стрічки вплетала мать, реже — старшая сестра или крестная. Каждое движение рук было тихой молитвой, каждое прикосновение — добрым напутствием. Так родительницы испокон веков благословляли дочерей на чистую дорогу, на добрую судьбу, на счастливую женскую долю. Считалось: вместе с стрічками ненька вплетает в венок силу рода, тепло отчего дома, оберег от беды и злого глаза.

Когда девушка надевала венок, вместе с ниспадающими за ее плечами лентами словно опускался на нее невидимый защитный шатер — благословение Бога, предков и родной земли...

Красная лента

*Вензная нить самой жизни, символ тех,*

*кто любил, рожал, защищал, продолжал род*

Считай что три года проходила Софья Солодова в черном вдовьем одеянии, прежде чем на пороге их квартиры в Алге появилась сваха — тетка Явдоха Ковбасюк. Невысокая, плотная, с круглым лицом и острым, цепким взглядом, она напоминала маленький вихрь — вечно в движении, вечно при деле. Щеки ее горели, будто только что от печи, глаза блестели хитровато и добродушно одновременно. На голове — темный платок в мелкий горошек, повязанный крест-накрест под подбородком; поверх теплой кофты — старенькая шаль, вся в мелких зацепках и вытертых местах.

Сваха ступила в сени уверенно, как к себе домой, обтрусил валенки, перекрестилась и, не дав Софье и слова сказать, с порога заговорила — быстро, певуче, с прибаутками:

— Та й не гоже, доню, по світу самій блукать! Молода ж ти, гарна, роботяща. Не вдова, а лебідонька чорна, що крила зложила. От слухай, Софійка, прийшла я не сама, мене твоя мати, Ярина Каркишчиха, прислала. Каже: «Иди, Явдоха, може, по доброму слову вдасться мою дівчину розворушить».

Она говорила мягко, но настойчиво, разливая слова по хате, как теплое молоко по крынкам. Софья стояла молча, не зная — то ли выставить гостью за дверь, то ли посадить. В конце концов вздохнула и, не глядя, сказала:

— Заходьте вже, Явдоха, чаю поп'ємо...

Увидев в углу иконы, Явдоха остановилась, перекрестилась широким крестом и, покачав головой, сказала с одобрением:

— От, молодець, господине! Не боїшся, не забуваєш Бога, як інші тепер. І правильно — без віри й хата пустою стає.

Сваха оживилась, стряхнула с плеч шаль и, проходя к столу, с довольным вздохом добавила:

— От і добре, Софійка. Бо, кажуть, самій у світі тяжко, а з добрим чоловіком і зима тепліша.

— И кого ты мне предлагаешь? — спросила вдова, больше ради приличия, чем из любопытства.

— Та я ж, дитино, по доброму делу! Жениха тебе сватаю — вдовца, мужчину видного, Павла Іосифовича Виноградова. Мадьяр он, з Золотоноши. Красивый, рослый, руки золотые, трудолюбивый — шо треба чоловік!

Софья поставила чайник на плиту.

— Сколько детей? — прямо спросила она, глядя на сваху поверх плеча.

Явдоха запнулась, словно слова вдруг застряли где-то между горлом и сердцем.

— Не лукавь, — тихо, но твердо сказала Софья. — Говори правду.

Сваху тяжело вздохнула, опершись руками на колени.

— П'ятеро, — выговорила наконец. — Двое старших, Григорий та Олександр, приємні. Він їх з удовою Лукерьею взяв. Хлопці вже дорослі, збираються в Узбекистан податися — там у них якісь родичі є. А троє спільних — Миколай, Ніна та Рая... Меньшенькій ще й двох нема.

Софья долго молчала, глядя в окно, где за стеклом таял снег.

— Отчего ж Лукерья померла? — спросила наконец, почти шепотом.

— При родах, — перекрестилась Явдоха. — Дитя велике було. Не встигли лікаря покликати — і все...

В комнате повисла тишина. Где-то в коридоре шумели соседи, скрипели доски, а Софья все смотрела на чайник, будто в паре пыталась рассмотреть свою судьбу.

Она долго молчала, глядя в чашку. Пар от чая поднимался тонкой струйкой, будто раздумье само тянулось в воздух. Потом тихо сказала, не поднимая глаз:

— Передай Павлу, шо я соглашусь. Але ж... жити в Золотоноші не поїду.

— Добре, передам, обов'язково передам! — кивнула Явдоха, уже поднимаясь с табурета, но тут же остановилась, будто вспомнив что-то важное. — Тільки, Софійка, скажи мені... як же ви тут, в городі, у тісноті, без городу, з оравою діток, проживете? Вам би краще на землі — хазяйство, кури, корівка. Павло ж там уже й хату спорудив, добру, з глиняною піччю.

Софья подняла голову. Голос ее прозвучал спокойно, но твердо:

— Мені город чи село — не принципово. Головне, щоб лікарня чи амбулаторія була. Діти часто хворіють, та й у дорослих свої болячки.

Явдоха оживилась, обрадованно закивала:

— Та так і є! Поруч із Золотоношею, в Аккемірі, є й совхозна, й залізнична амбулаторія!

Софья чуть улыбнулась краешком губ:

— От і добре. Хай твій мадьяр Павло нам у тому Аккемірі й будує простору хату. Щоб і дітям місце було, і душі простір...

Желтая лента

*символ доброты, тепла и силы духа. Она связана с солнцем, что согревает, не требуя ничего взамен. Такую ленту влетали тем, кто несет заботу о других, кто живет не ради себя.*

*Женщине, что дарит свет детям и чужим судьбам — как  
солнце, которое не выбирает, кого греть...*

Явдоха ушла, а Софья еще долго сидела за столом. В доме стояла тишина — та, что приходит после слов, в которых прозвучала судьба.

Не спеша, словно сама с собой, она тихо запела — свою давнюю, любимую песню про белые астры:

*В саду осіннім айстри білі*

*Схилили голови в журбі...*

Голос дрожал, будто не песню пела — вспоминала прожитое. А когда дошла до последних строк, на глазах выступили слезы:

*Коли умру я від кохання,*

*То поховайте серед трав,*

*А ти, зірвавши айстру білу,*

*Згадаєш, хто тебе кохав...*

Женщина замолчала, глядя в окно, где снег ложился редкими хлопьями на подтаявший подоконник. В голове одна за другой вспыхивали и гасли мысли, воспоминания. Первый муж, Федор Солодов... Будто вчера это было. Он защемил палец на дрезине, махнул рукой, а через неделю его не стало. Столбняк. Тогда и сыворотки не достать, и врача рядом не нашлось. А потом — Валя... младшенькая. Дифтерия. Пока довели до области — поздно. Она и не открыла больше глаз. И вот теперь — Павел, вдовец. Его Лукерья умерла при родах, тоже без лекаря. Видно, у всех одна беда — расстояния, безвременье и эта беспомощность перед чужой смертью.

Нет, она больше не хочет терять. Пусть Павел и хороший человек, пусть детей у него целая орава — согласится, но жить станет только там, где есть больница, где врач не за тридевять верст. Аккемир — там есть больница, значит, и шанс на жизнь есть.

Софья подняла взгляд на чайник — пар клубился вверх, и в нем, казалось, растворялись ее страхи. Хватит, подумала она. Теперь все будет иначе. Теперь — с умом. Тогда она даже представить не могла, что пройдет всего несколько лет — и она станет работать в той самой аккемирской больнице, санитаркой. Пять лет — скромных, трудных, но, может быть, самых осмысленных в ее жизни...

Тридцатый год мел по земле, как буря. В селах — крики, сходы, красные плакаты. Людей сгоняли в колхозы, лишали лошадей, инвентаря, зерна. Многих — зажиточных, трудолюбивых — записывали в «кулаки» и вывозили куда глаза глядят: в Сибирь и на Север. Золотонош не стал исключением. С утра до ночи по улицам тянулись обозы, бабы плакали, мужики молчали, глядя в землю.

Павел Виноградов не спорил, не возмущался — вот только устал. Дом стоял, печь топилась, дети росли, но все чаще по вечерам в нем было пусто: не хватало женского голоса, руки, тепла. После смерти Лукерьи тишина звенела, как струна.

Когда в Золотонош приехала сваха Явдоха Ковбасюк, он слушал ее молча, будто боясь поверить. Софья... вдова, с двумя дочерьми, из Алги. Добрая, разумная, и — главное — согласна стать женой, матерью его пятерым ребятишкам. Только одно условие поставила — жить не в Золотоноше, а ближе к людям, к больнице, к железной дороге.

Павел долго не раздумывал. Оставил дом, двор, все нажитое — и пошел навстречу этой надежде. Говорили потом, что сбежал из колхоза. А он просто ушел — туда, где начиналась новая жизнь. В четырех верстах от Золотоноши находился совхоз «Дорус». Он располагался вблизи разъезда Аккемир и был одним из первых совхозов региона. Обеспечивал сельхозпродукцией управление железной дороги. Там была и работа, и амбулатория, и место под дом.

Его строили уже вместе с Софьей — из самана, не спеша, с любовью, как строят не просто дом, а новую жизнь. Хата поднималась на полпути тихой улочки, что вела от школы к водонаборной башне и старым казармам у железнодорожных путей.

Позже этот уголок не раз менял свой облик. В наши дни там жила семья Чистяковых. В доме напротив жили Манаповы; по левую сторону, почти у них за плечом, темнела землянка старого Габгабэна, а по правую, через дом, помещался сельсовет...

Жизнь переменчива: с каждым поворотом судьбы Софье приходилось менять и фамилию — Каркишко, Солодова, теперь вот Виноградова...

Магьяр Pál Szólósi, József fia оказался человеком ласковым, добрым, порядочным — настоящим семьянином. Он всю жизнь говорил по-русски, с сильным венгерским акцентом, от которого речь звучала мягко и чуть напевно. Его любили дети — и приемные, и родные. Любили не за строгость, а за то, как он к ним относился: спокойно, по-отцовски, с сердцем.

Софья отвечала тем же — не делила детей на «своих» и «чужих», для нее все были равны перед любовью и заботой.

В 1937 году у них с Павлом родился общий сын — Анатолий Виноградов, последний из прямых потомков магьяра, который, раненный на фронтах Первой мировой, однажды связал свою судьбу с далекой казахстанской, но ставшей ему родной землей...

Рожала Софья в аккемирском роддоме — тогда он размещался в здании из красного кирпича, у самой водонаборной башни, рядом с вокзалом и перроном. После войны здание примет новую жизнь: в одной его половине откроют железнодорожную амбулаторию, в другой — обоснуется семья фельдшера Анны Корневой.

Розовая лента

*цвета зари. Символ нежности, любви, чистого чувства и душевной гармонии. Так переплелись судьбы гармониста Михаила и учительницы Марии — музыка и слово, нота и строка, две души, сложившиеся в единую мелодию любви.*

Лицо князя, сжатое, бессонно ясное. А перед ним пустынная белая равнина. Лед, который скрипит и дышит под тяжестью доспехов. На морозном горизонте сходятся две армии — ровная, клиновидная колонна тевтонских рыцарей и темная, сплошная масса русичей, устроивших засаду. Белые сюрко — церемониальные накидки с крестом на груди — бросались в глаза в первую очередь. Кольчуга спадала тяжелыми кольцами, рукавицы-латные кулаки сжимали длинные мечи, широкие щиты с гербами полностью закрывали фигуры. Шлем-«ведро» с узкой щелкой для глаз делал рыцаря безликим. Поясные ремни, нащечные пластины, подплечники — все сияло и звенело, когда строй шел по равнине; каждый шаг отдавался лязгом, и казалось, будто движется не человек, а массивная бронзовая машина. На шлемах и плащах кресты и хоругви горели, как знаки чужой веры и чужой миссии. Все это складывалось в единую картину: немцы предстали не просто врагами, а безликой, чуждой силой, лишенной лица и пощады. Вой зазвучал, металлы лязгнули, и лед треснул под ногами тех, кто не подозревал, что их броня станет их погибелью. И, наконец, сам Александр Невский, который, став перед пленными, говорит так, будто выносит приговор всему миру: «Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива! Пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет! На том стоит и стоять будет Русская Земля!»...

В зале, среди приглушенного света, люди замирали. Кто-то держал платок у рта, кто-то стиснул кулаки — и все до единого смотрели так, будто от этих нескольких кадров теперь зависит их собственная жизнь.

Старший сын семьи Кохан, Михаил, сидел прямо, подбородок впереди, глаза широко раскрыты. В груди у него билось не только восхищение — там зарождалась обязанность, чувство долга. Ему было двадцать. Парень знал: как связист он на почте незаменим. Потому его и не призвали на срочную службу. Но кадры с экрана гудели в голове громче любых доводов. Михаил осознал свое решение. Завтра он пойдет и запишется добровольцем в ряды Красной Армии. Не потому, что хотел бежать от работы, а потому, что любил Родину...



Кохан Михаил Маркович

На следующее утро он, как обычно, ехал на стареньком харьковском велосипеде В-28: тяжелая рама, тусклый звонок, а под седлом — моток бечевки и гаечный ключ. Простая, надежная машина, рассчитанная на село, почту, милицию и рабочих. В деревне такой велосипед считался признаком достатка — им мог похвастаться разве что зажиточный колхозник или механизатор.

Стоял июнь, жаркий, казахстанский. Пахло полынью и рекой, что текла по правую руку, лениво блестя на солнце. Проселочная дорога вела из Золотоноши в Аккемир. Колеса мягко шуршали по дороге, пыль клубилась за спиной, и Михаил думал о том, что иногда всего четыре километра могут отделять жизнь вчерашнюю от новой. Поселения почти одинаковые по размеру. Но в Аккемире — железнодорожная станция, почта, больница и даже школа десятилетка.

В их же Золотоноше — всего семь классов, которые он и закончил. Потом выпускника направили на курсы связи при районном почтовом узле. Учился недолго — каких-то пару месяцев, но этого хватило, чтобы освоить аппаратуру и порядок службы. Затем его распределили в Аккемир, где прикрепили учеником к старому связисту. Тот показал, как чинить линию, проверять изоляторы, вести журнал вызовов. Через год Михаил уже сам принимал телеграммы и крутил ручку телефона, соединяя Аккемир с райцентром — и, казалось, со всей страной...

Он увидел ее издали. Мария стояла на окраине поселка, у обрыва над рекой Илек. Михаил надавил на педали и вскоре резко остановился рядом с ней.

— Здравствуй, Маня, — ласково произнес он, чуть запыхавшись.

— Ну и куда так спешит наш хлопец? — сказала она игриво, с легким вызовом, глядя ему прямо в лицо.

— К тебе, — ответил он, покраснев от смущения. — Хочешь, прокачу?

— Да нет. А то мамка меня прибе, — поспешно отрезала она, опуская глаза. — Запретила ездить с тобой. Молвит: негоже четырнадцатилетней у взрослого на коленях сидеть.

Парочка неспешно двинулась в центр Аккемира.

— Я решил в армию податься, — через десяток шагов тихо поделился Михаил. — Сегодня же поеду в военкомат.

Мария отшатнулась от неожиданности и, ухватившись за руль, нечаянно нажала на звонок велосипеда. Тот прозвенел коротко и тревожно.

— А как же я? — вырвалось у нее испуганно.

— Так я ж вернусь, — уверенно сказал он. — К тому времени ты школу закончишь. И мы поженимся.

Она прикусила губу.

— Так я ж одна буду скучать.

— Пиши мне чаще, — произнес он, глядя прямо в ее глаза.

Они не подозревали, что это было прощание. Вновь увидеться им суждено будет лишь после войны...



Крик над рекой

День рождения Амалии выпал на суровую, леденящую субботу — 17 декабря 1910 года. Позже ее мать не раз вспоминала тот день: как метель стлалась по степи, как трещали стекла от

мороза, а в избе, натопленной русской печью, впервые заплакала девочка — первенец в семье Георга и Марии-Магдалены Лейс.

Амалия родилась в семье потомков немецких переселенцев — одной из 118 семей, выходцев из Бранденбурга, Саксонии, Дармштадта и Пфальца, которые по приглашению императрицы Екатерины II еще в 1767 году основали лютеранское село Гуссенбах (Hussenbach). Согласно царскому указу о заселении российских земель иностранными колонистами, они обосновались на правом берегу реки Медведицы, притока великой Волги.

Мария-Магдалена днем раньше вопреки запрету родной матери, католички Анны-Розы, была со свекровью на богослужении в лютеранской церкви. Пастор убедил ее, что беременной можно и нужно бывать в Храме Божьем. Прежде всего, чтобы поблагодарить Всевышнего за бесценный дар в виде младенца, сердце которого бьется у нее в утробе. А на следующий день, рано утром, Мария-Магдалена разрешилась.

Именно бабушка Анна-Роза настояла на том, чтобы новорожденную назвали католическим именем Амалия. Отец ребенка Георг, хотя и был убежденным лютеранином, все же не стал противоречить своей теще. Он думал, что их первенца назвали Амалией согласно церковному календарю именин святых и покровителей. Что тут спорить? Хорошее имя.

Но Анна-Роза видела в этом имени нечто большее. Почти через два десятилетия, на смертном одре, она призналась своей внучке в тайне. Священник католической церкви однажды рассказал ей латинское значение имени Амалия – «достойный противник».

Анна-Роза не могла простить своей дочери Марии-Магдалене ни брака с лютеранином Георгом Лейсом, ни ее отступничества от католической веры. Но она видела в Амалии шанс все исправить. Воспитание внучки в католическом духе стало для нее личной миссией. Ради этого, овдовев, она нашла повод переселиться в дом зятя-лютеранина, надеясь, что время и ее усилия сделают свое дело.

Мать Георга, Эмма, возможно, догадывалась о планах своей сватки, которая особо и не пыталась их скрыть, но всерьез их не воспринимала. Проповедник лютеранской церкви уверял: согласно догматам, католик мог стать евангелистом (так официально называют протестантов-лютеран), но обратный переход был невозможен. Поэтому Эмма совершенно спокойно отнеслась к тому, что ее сын взял в жены католичку.

К тому же, сама того не осознавая, Эмма придерживалась весьма либеральных взглядов, даже не зная такого слова. Задолго до свадьбы любимого сына она во всеулышание заявила, что примет сноху любого рода и вероисповедания:

– Даже если это будет женщина из киргизских степей или из заморской Японии. Лишь бы она сделала Георга счастливым.

Более того, Эмма была готова смириться даже с худшим, по ее мнению, вариантом – если бы сын женился на русской.

– Упаси, конечно же, Господь! – молилась она, едва представив такое. Ведь в таком случае Георгу пришлось бы не только покинуть родительский дом, но и уйти из немецкого села.

Царские законы для переселенцев были строги: колонисты давали клятву соблюдать их, ступая на русскую землю. Одним из таких законов запрещалось склонять православных к переходу в другую веру под страхом сурового наказания. Принуждать к крещению мусульман, напротив, разрешалось, а православных – ни в коем случае.

Эмма никогда не слышала о смешанных русско-немецких семьях, да и ее родители тоже. Но она догадывалась, что если бы Георг женился на русской, ему пришлось бы перейти в православие. Жить с русской женой и оставаться лютеранином было немыслимо в те времена: венчание и крещение детей допускатось только при единой вере обоих супругов.

Честно говоря, при всем своем «либерализме» Эмма облегченно вздохнула, когда Георг привел в дом всего лишь католичку. Тем более, что Мария-Магдалена сама изъявила желание перейти в лютеранство. А когда выяснилось, что она к тому же оказалась доброй, трудолюбивой

и чистоплотной снохой, Эмма убедилась окончательно: вероисповедание – это не главное. Оно должно помогать людям жить и любить, а не возводить преграды на их пути.

Дед Амалии, Иоганн Лейс, был человеком редкого мастерства: хлебороб, плотник, каменщик, а на старости лет увлекся еще и виноделием. Именно он спроектировал и собственноручно построил дом, где позже родилась Амалия. Это был добротный, четырехкомнатный дом, выложенный из дикого природного камня и покрытый деревянной кровлей.

За домом находились большой амбар и просторный хлев для домашнего скота. Хозяйский огород простирался до самой реки, на сто метров, усеянный бесчисленными грядками и несколькими яблонями. У самого берега, на высоком склоне, Иоганн еще в расцвете своих сил вырыл просторный погреб.

Этот погреб был настоящим шедевром, разделенным на три части. Первая – ледник, где круглый год хранились многокилограммовые куски льда, заготовленные зимой на реке. Вторая – овощехранилище. А третья – небольшое сводчатое помещение, выложенное из того же природного камня. Здесь, как говорил сам Иоганн, происходило «дозревание» его самогонного вина.

Иоганну завидовали не только соседи-колонисты. Русские крестьяне из ближайших деревень специально приезжали, чтобы полюбоваться на его мастерство и перенять опыт. Его сооружения, будь то дом или погреб, стали предметом восхищения и символом трудолюбия и находчивости настоящего немецкого мастера.

С началом Первой мировой войны в Российской империи все немецкое стало подвергаться подозрению и гонениям. Под запрет попадали не только фамилии и вывески — целые села теряли свои исконные названия.

Так немецкое лютеранское село Hussenbach было переименовано в Линёво-Озеро — словно вместе с именем пытались стереть и память о его колонистском прошлом.

Абсурд заключался в том, что в почти стопроцентно немецком селе под страхом наказания запрещалось говорить по-немецки — и на улице, и в приходской школе, и даже в церкви. Люди, привыкшие молиться, петь и крестить детей на родном языке, вдруг должны были делать это на русском...

Семья Лейс была большой и дружной. После Амалии на свет появилось еще пятеро дочерей: Мария, Эмилия, Рената, Роза и Анна. Девять женщин и один мужчина. Не жизнь, а малина! Усилиями многочисленного женского состава в доме Лейс всегда царили чистота и порядок. Каждый домочадец был накормлен, одет и ухожен.

Погреб и чердак ломились от запасов: мясо, шпик и копченая колбаса, вяленая рыба, топленое свиное и сливочное масло, варенье и соленья, сушеные фрукты, ягоды и грибы — все было припасено с любовью и тщанием. В сундуках аккуратно хранились мотки пряжи и бесчисленные отрезки ткани, которые могли бы обеспечить одеждой не одно поколение.

Работа на поле — пахота, сев и жатва — ложилась почти полностью на плечи Георга. Он справлялся с этим стойко, хотя время от времени ему помогали женщины. В их амбаре никогда не было пусто: закрома были до краев заполнены зерном, мукой, фасолью и кукурузой.

Однако мысли о том, чтобы завести еще одного ребенка, вызывали у Георга тревогу. Он считал, что и так несет немалый груз ответственности. Поэтому, узнав, что Мария-Магдалена снова ждет ребенка, он был скорее озадачен, чем рад.

Но Бог в этот раз подарил Георгу то, о чем он, возможно, мечтал, но не смел надеяться: долгожданного сына. Мальчику дали имя Jakob.

– Дети — не картошка, и зимой растут, — говорил теперь уже обрадованный отец, с гордостью глядя на младенца. Георг знал, что не за горами то время, когда сын подрастет, станет его опорой и продолжателем рода.

Амалия хорошо помнит, как они с бабушками готовили для новорожденного брата старую колыбель-качалку. Хотя, что там говорить, готовили? Просто протерли люльку да посте-

лили свежестырианные пеленки. Эта колыбель почти не успевала запылиться или рассохнуться – дети в семье появлялись на свет каждые полтора-два года.

Бабушка Эмма не уставала рассказывать историю качалки. Ее прадед, едва обосновавшись на берегах Волги после переселения из Саксонии, вырезал эту люльку из прочного дуба. С тех пор, на протяжении полутора столетий, она неизменно служила новым поколениям их рода.

Амалия знала качалку до мельчайших деталей. На боках были вырезаны затейливые деревца, царственные птички и лазурные цветочки. В изголовье сияло ярко-красное солнышко, а в ногах – полумесяц, окруженный звездами. На каждой стенке красовались резные ангелочки, будто охраняющие сон младенца.

– Креста на люльке не хватает, – привычно сокрушалась бабушка Анна-Роза. – У нас, католиков, на каждой колыбели крест вырезают, чтобы Бог ребеночка защищал.

– Не слушайте ее, – мягко вмешивалась бабушка Эмма, обращаясь к внукам. – Нельзя почитать то, на чем Господа распяли.

Эмма вспоминала недавнюю речь пастора на воскресной службе:

– Второй заповедью на скрижалях божьего свидетельства записано: «Не делай себе кумира». И это важнее, чем «не убивай», «не прелюбодействуй» или «не кради». К сожалению, история религий полна примеров, когда учение подменяли суеверием. Лютеранину не нужна икона или крест. Он знает, что Господь на небесах и достаточно взглянуть вверх, чтобы напрямую с Ним говорить.

Сваха готова была пересказать эти слова Анне-Розе, но та ее слушать не собиралась. Достав из-за пазухи флакончик со святой водой, она обильно окропила качалку.

Анна-Роза была воспитана в строгих католических традициях и менять свои убеждения на старости лет явно не собиралась.

Иногда бабушка Эмма, сама того не замечая, бросала на спинку качалки сушиться влажную пеленку.

– Ты что, хочешь, чтобы наш внук бессонницей страдал? – восклицала Анна-Роза, срывая пеленку. Она торопливо крестила колыбель и добавляла: – Это плохая примета!

Материнский инстинкт, казалось, у девочек был врожденным. С самого раннего возраста они играли в кукол, пеленали их, кормили и качали. Неудивительно, что старинная люлька, стоявшая в углу комнаты, манила их как магнит. У каждой из девочек буквально чесались руки, чтобы покачать ее.

– О Боже! – вздрагивала Анна-Роза, заламывая руки, будто наступил конец света. – Нельзя качать пустую люльку! Вы что, хотите, чтобы Якоп (она упорно ставила в его имени «п» вместо «б») смертельно заболел?

После того как детей удалось отогнать, бабушка снова крестила качалку и шептала молитвы.

Эмма, молчавшая до поры до времени, наконец, не выдержала. Она подошла к свахе, сложила руки на груди и тихо, но твердо сказала:

– Ты либо в Бога верь, либо записывайся в воровейки.

Анна-Роза замерла. То ли слова Эммы задела ее, то ли она пыталась найти достойный ответ, но так ничего и не сказала. Развернувшись, она вновь обратилась к внукам:

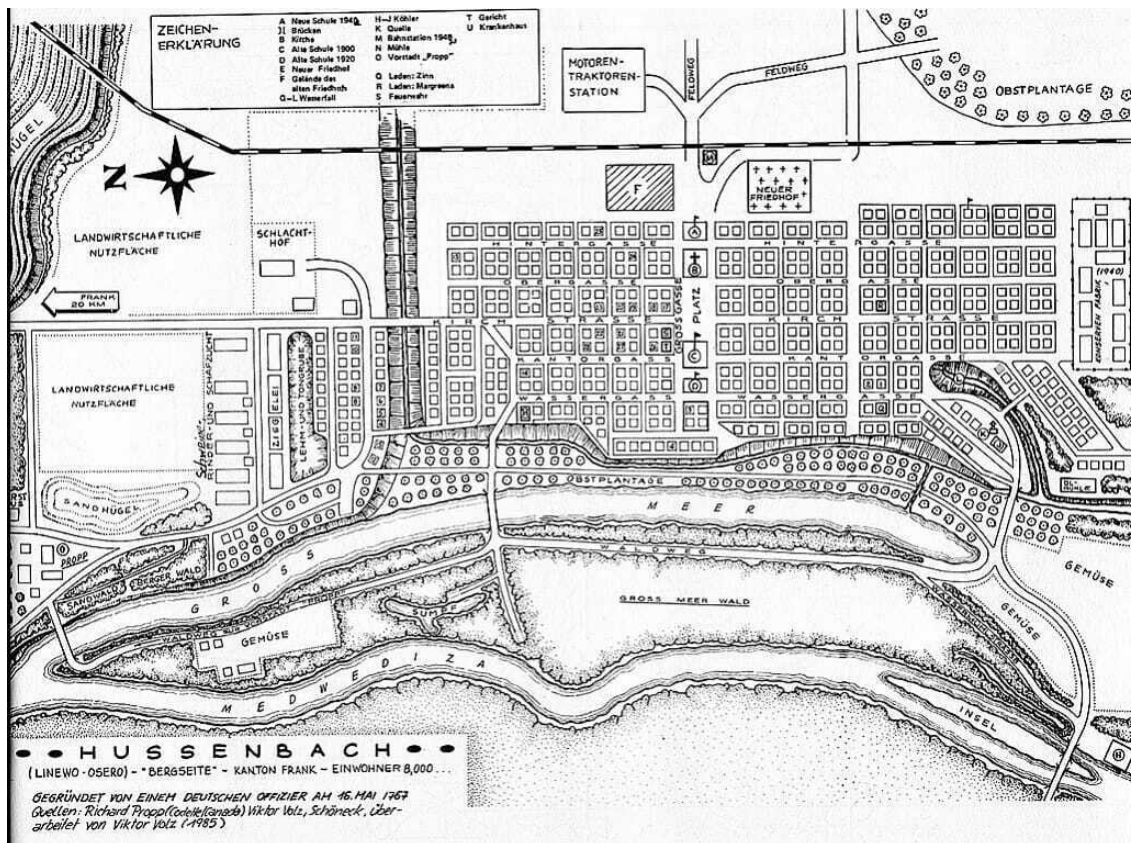
– И запомните: в колыбель сами не вздумайте садиться!

Девочки даже не думали спрашивать «почему». Каждая из них сразу представила себе те страшные беды, которые неизбежно обрушатся, если они ослушаются. Мрачные предостережения Анны-Розы делали ее слова почти магическими, и никто не осмеливался проверить их на деле...

Двадцать первый год стал для многих тем самым концом света, который бабушка Анна-Роза постоянно предсказывала. И пусть земля и вселенная не сгнули в небытие, но что-то

судное, зловещее витало в воздухе. Никто в округе не помнил такого, чтобы урожай оказался меньше посеянного.

А тут еще другая напасть. Большевики и их подразверстка. Они вваливались в каждый дом и отбирали у крестьян продовольствие для голодающих города. У Лейс большевики очистили амбар под веничек – даже зернышка не оставили на полу. Увели весь скот.



План села немцев Поволжья – Гуссенбах

– Да что же вы за нелюди такие! – на русском, встав перед ними на колени, взмолилась Мария-Магдалена. В руках она держала Якоба в пленках. – А чем мне семерых детей прикажете кормить?

Сжалились большевики над матерью, оставили многодетной семье мешок муки и маленького козленка на развод – чтобы было детям молоко. На большее не расщедрились, даже еще напоследок зло бросили:

– Не нравится, пошла прочь в свою Германию.

Муки хватило ненадолго, а козленок оказался козликком. Ждать молоко пришлось бы долго. Его зарезали, хотя и мяса с него было как с кошки. Георг стал чаще ходить на охоту и рыбалку. Бабушки тащили из леса все, что можно было подать на стол. Они, кажется, даже отварами из коры деревьев поили своих домочадцев. Насытиться этим было невозможно, но чувство голода как-то притуплялось.

Теперь Георг все чаще уходил на охоту и рыбалку, пытаясь раздобыть хоть что-то съестное. Бабушки, одевшись потеплее, тащили из леса все, что только можно было подать на стол: коренья, ягоды, даже кору деревьев. Они варили из нее отвар, которым поили домочадцев. Конечно, это не могло насытить, но чувство голода на время притуплялось.

В доме стало тише. Даже дети, всегда шумные и озорные, теперь сидели молча, словно старались не тратить силы.

Но беда никогда не приходит одна. У Марии-Магдалены от стресса, страха и скудного питания пропало молоко. Младший сын Jakobchen заливался истошным криком от голода, лицо его от напряжения становилось синеватым. Бабушка Эмма, следуя своей старой привычке, уговаривала сноху продолжать прикладывать младенца к груди. Но как ни старался малыш, кормящая грудь оставалась пустой. Было очевидно, что он голодает.

Анна-Роза пыталась помочь по-своему: заваривала для Марии-Магдалены травяные чаи, собранные по своим рецептам. Но и это не принесло результата.

Отец успел уже оббежать всю округу в поисках коровьего молока для умирающего от голода сына. К сожалению, всех коров забрали большевики. И лишь в соседней деревне в одной семье калмыков ему повезло. У них имелось кобылье молоко. На момент продрозверстки жеребая лошадь не могла и шагу ступить, поэтому ее не отобрали, и она в родном стойле удачно ожеребилась.

Чаще всего Амалия ходила за питанием для братика. Каждый раз ей приходилось преодолевать долгий путь – семь верст в одну сторону. Платили чем могли. Иногда калмыки сами указывали, что принести: пряденую шерсть, одежду, инструменты. За крынку с содержимым отдавали молоток, вилы, лопату или мамины бусы.

Молоко заливали в темно-коричневую бутылку из-под водки, которую в селе прозвали «соловейкова церковка». Чтобы кормить сына, Мария-Магдалена закручивала в горлышко лоскуток сарпинковой ткани. Через эту самодельную соску ребенок сосал молоко.

Эмма каждый день готовила внуку «Süßknoten» – сладкие узелки. В обычный носовой платочек или в салфетку из набивной бязи она завязывала щепотку свежих или сушеных ягод. Такой соской успокаивали голодного младенца до следующей кормежки.

Анна-Роза тем временем бродила по песчаной опушке леса, собирая корни солодки, которые называла «Süßholzwurzel». Старшие дети жевали их сырыми, а для младшенького Мария-Магдалена заваривала сладкие корни с чабрецом. Этот напиток они называли «Steppentee» – степной чай.

Маленького Якоба дома звали Jäckel (Йекель), а бабушка-католичка, как водилось в их роду, приносила по-своему — Якоп или Köbi (Кёби). Несмотря на все усилия, голод оставил неизгладимый след. Годы лишений как говорится, будут у мальчика в костях сидеть. Он навсегда останется низкорослым и слабым, будет постоянно болеть.

Но это будет потом. А сейчас, сидя на кровати с сыном на руках, Мария-Магдалена осторожно поила Йекельхена кобыльим молоком. Его исхудавшее, обессиленное тело казалось почти невесомым. Мать прижимала малыша к себе так крепко, словно боялась потерять. Слезы катились по ее щекам, и она, уткнувшись лицом в тонкие пеленки, горько шептала:

– Зря ты появился на этот свет...

Эти слова разрывали сердце Амалии. Она стояла в стороне, боясь приблизиться. Разве можно сетовать на рождение своего богоданного ребенка?! Она не могла тогда знать, что и ей придется однажды оказаться в подобной ситуации.

Население Линёво-Озера в те голодные годы сократилось, наверное, вдвое. Люди падали замертво прямо на улице, а тех, кто в доме умирал просто выносили за порог. Церковная телега каждый вечер собирала трупы. Поселковое кладбище за год разрослось вдвое. И если раньше умершим ставили памятники и ограды, то теперь могилки выглядели просто бугорками с наспех сколоченными крестами.

Амалия однажды подслушала, как родители шептались с бабушками о «каннибалах» в соседней деревне. Девочка не знала значения этого слова. Родителей спросить не посмела. Боялась получить нагоняй. Раз уж они об этом вслух не говорят, значит, это не положено знать

детям. Потом, уже взрослой, она прочитает о каннибализме и ужаснется. Мысленно поблагодарит своих родителей, что те не рассказали им, детям, о людоедах.

Это страшное время, надломило даже либеральную лютеранку Эмму. Она уже не противилась, когда над входной дверью их дома Анна-Роза повесила крест и в каждой комнате на стенах появились иконы. Молчала, когда католичка пригласила священника, дабы тот освятил их жильё.

Спасаясь от густого ладанного дыма кадила, которым богослужитель размахивал, обходя каждую комнату их дома, Амалия выбежала в палисадник. Оттуда она спокойно с недетской ухмылкой на губах наблюдала за религиозной церемонией. Легко можно было догадаться, что она не верила в чудодействие этого обряда.

В школе русская учительница им давно объяснила:

– Бога нет! Это все бабушкины сказки.

И хотя Амалия безмерно любила Эмму и Анну-Розу, верить в их проповеди она уже не собиралась.

Несколько дней позже тринадцатилетняя Амалия шумно взбежала по ступенькам крыльца отчего дома, нараспашку отворила дверь и радостная предстала перед семьей Лейс. Как всегда, худющая, загорелая, с оттопыренными ушами и растрепанными косичками. На шее у нее алел красный галстук, скрепленный зажимом в виде серпа и молота.

– Теперь уж точно конец света! – почему-то на русском воскликнула Анна-Роза. У нее не хватило даже сил устоять на ногах.

– Меня приняли в пионеры! – радостно салютовала Амалия. – Мы будем строить светлое будущее.

– *Es steht in den Büchern*, – голосила бабушка на немецком, стоя на коленях и закатив глаза. – *Ihr werdet kein Glück auf der Erde mehr haben. Ihr würdet sehr oft den eigenen Tod wünschen.* (Это записано в книгах: вам больше не будет счастья на Земле. Вы часто будете желать себе смерти.)

Гражданская война закончилась, белогвардейцы были разгромлены, но в Поволжье продолжали орудовать многочисленные банды и отряды. Среди них были бывшие царские офицеры, эсеры, монархисты, анархисты и кто знает еще кто – все они противостояли новой власти большевиков, раздраемые личными конфликтами и междоусобицами. Село Линёво-Озеро уже в который раз переходило из рук в руки. Никто не мог с уверенностью сказать, за что и против кого сражались очередные оккупанты. Быть может, их удерживала царская присяга, не позволявшая сложить оружие. А может, это уже превратилось в обыкновенное мародерство, грабежи и насилие, не имеющие никакого отношения к офицерской чести.

Георга политика не интересовала – заботы у него были куда прозаичнее. Как говорится в пословице, «семеро по лавкам», а детей нужно было кормить. Недалеко от села, в полесье у болота, водились куропатки. Вооружившись сетью и петлями, он еще до рассвета отправлялся на охоту за дичью. Перед уходом строго-настрого наказал домочадцам: если почувствуют опасность, пусть немедленно прячутся в погребе.

Подземное укрытие, построенное дедом Иоганном, и вправду заслуживало благодарности. Со стороны улицы и дома оно выглядело неприметно – просто холмик, поросший травой и кустарником.

Мария-Магдалена и сама понимала, что оставаться днем дома было опасно. Недавно шальная пуля, пробив оконное стекло спальни, насквозь пронзила раму деревянной колыбели. Ангелы-хранители уберегли – всего десять сантиметров ниже, и свинец бы попал в мирно спавшего Мартина.

И вот опять – стрельба началась с самого утра. Под свист пуль семья Лейс торопливо укрылась в погребе. На сей раз решили спрятаться в винном: благодаря глубине и каменному

своду он казался самым надежным. Солидная дубовая дверь с недавно установленным Георгом внутренним засовом из толстого железа внушала дополнительное чувство безопасности.

Усадив бабушек и детей на полках и ящиках, Мария-Магдалена еще раз тщательно проверила, плотно ли закрыт засов.

Перестрелка стихла только к середине дня. В погребке, как по команде, раздался громкий детский плач – с утра никто из малышей не ел. В спешке взрослые не подумали или просто не успели взять с собой еды. Мария-Магдалена, мать семерых голодных детей, вздохнула: выбора не было – надо было идти в огород, нарвать хотя бы редиски, лука или огурцов.

В темноте на ощупь поднявшись по ступенькам, она остановилась у массивной двери. Всем было слышно, как Мария-Магдалена тяжело вздохнула, видимо, отгоняя страх перед тем неизвестным, что ее может ожидать сейчас снаружи. В тишине прозвучала ее короткая молитва и скрипя отодвинулся засов. Лишь на мгновение в подземное помещение успел заглянуть солнечный свет, озарив лица смотрящих ей вслед.

Марию-Магдалену ждали долго. Но она все не приходила. В погребке только бабушки и Амалия еще держали себя в руках. Остальные скулили как щенята. Младшие наперебой просили хлеба. Амалия, на правах старшей сестры, обещала их скоро покормить, тихо пела им песни и рассказывала сказки. Она, как могла, пыталась облегчить участь бабушек, которые и так не находили себе места от переживаний за дочь и сноху.

Через пару часов, не дождавшись возвращения Марии-Магдалены, пленники выбрались из погреба и гуськом между грядок огорода направились к дому. Кругом царил тишина.

В доме стоял резкий запах табачного дыма. Лучи заходящего солнца, заполонившие сквозь окно помещение, высвечивали плавающие в воздухе слои табачного дыма. Это казалось странным – ведь никто из семьи не курил. На столе хаотично стояли стаканы, рядом лежала пустая пятилитровая бутылка из-под самогона, валялись остатки зеленого лука и надкусанные огурцы.

Марию-Магдалену они нашли в спальне. Она сидела на краю кровати в остатках разорванной одежды. Ее длинная, всегда красиво уложенная на голове коса сбилась на бок и на половину распустилась. Руки и грудь были в крови. Она прижимала к животу окровавленную подушку. Белоснежная постель была тоже усеяна алыми пятнами. Отрешенный взгляд Марии-Магдалены упирался в пол комнаты.

– Больно-то как! – тихо причитала она. – Как же больно!

От сдавливаемого рыдания дрожали ее опустившиеся плечи.

– Маля, забери младших отсюда, – потребовала бабушка.

– Ждите нас на кухне! – приказала другая, закрывая за ними дверь спальни.

Сестренки и братик, как бы понимая, что в дом нагрянуло несчастье, вели себя тихо. Никто не вспомнил о еде, все сидели молча. Амалии в эту минуту очень захотелось их всех обнять и, как это делала мама, поцеловать каждого в лобик. Но она воздержалась, потому что побоялась, что сама заплачет.

Старшая сестра лишь нежно поправила волнистую белокурую челку Йекельхена. Братишка спал на скамейке, скрутившись в бублик и положив головку на ее колени.

– Как же не вовремя ты родился! – повторила мамины слова Амалия. Вмиг повзрослевшая, она отчетливо понимала, что уже никогда не будет как раньше...

Через некоторое время забегали бабушки. То за водой, то за корытом. В одно мгновение повеяло холодом. Это бабушка Эмма пронесла мимо них лед. Потом все снова затихло. Лишь было слышно, как тикают стрелки настенных часов.

Амалия не знала, что можно спать сидя. Вернее, ей этого до сих пор не приходилось делать. Оказывается, можно. Вот только потом все болит, и кости ломит. От этих неудобств она, видимо, и проснулась. Уже светало. Были бы целы на деревне петухи, они наверняка в эти

минуты воспевали бы начало нового дня. Но их давно всех съели. Другие же пернатые, соловьи да жаворонки, напуганные громом последних перестрелок, тоже помалкивали.

Стараясь не разбудить братика, Амалия осторожно встала и подсунула ему под голову вместо своей коленки рядом лежащий на скамейке отцовский рюкзак.

– Папа вернулся, – догадалась девочка и всплеснув от радости руками, бросилась в открытые двери родительской спальни.

На вновь застеленной белоснежной постели, облаченная во все белое, лежала Мария-Магдалена. Ее лицо казалось безмятежным, словно она просто уснула, но тишина в комнате была зловещей. С обеих сторон кровати на стульях сидели бабушки, неподвижные, словно изваяния. У изножья на коленях стоял сгорбленный отец.

– Прости! – то и дело повторял он, всхлипывая и скручивая в руках фуражку.

– Мама! – успела выкрикнуть Амалия. Вокруг нее вдруг все поблекло и понеслось с невероятной скоростью в карусельном вихре. Она без сознания упала у запаченных в болотной тине сапог Георга.

Позже ей объяснят, что мама умерла от двух ножевых ранений в живот...

В глубоком трауре справили и девять, и сорок дней, и годовщину смерти Марии-Магдалены. Время шло, а атмосфера семейной жизни никак не хотела возвращаться в их дом. Казалось, что вместо мамы к ним навсегда поселились полумрак и холод, хотя, как и раньше, зажигали фильтровые лампы и топили печь. Однако уже давно не было слышно в родных стенах беззаботного детского смеха. Отец искал утешение в работе. Он почти все время пропадал в поле или в хлеву. Часто оставался там и ночевать. В доме ему все напоминала о погибшей супруге.

Эмма и Анна-Роза, поникшие в своем горе, уже не снимали траурных одежд. Бабушки теперь вдвойне пытались окружить внуков заботой и вниманием, но Амалия больше никогда не увидит на их лице подобие улыбки. Смерть Марии-Магдалены так сблизила лютеранку и католичку, всегда и во всем противостоящих друг другу, что они, хотя в это трудно было поверить, даже умерли почти в один день.

После их смерти вся тяжесть домашнего хозяйства легла на плечи многодетного отца. Амалия, старшая дочь, делала все возможное, чтобы помочь ему, но этого было недостаточно. Вместо того чтобы объединиться в заботе о доме и семье, Георг надломился. Слишком многое оказалось ему не под силу.

Он все чаще стал заглядывать в трактир и возвращался домой в изрядном подпитии. Амалия терпеливо ждала его возвращения, помогала раздеться и укладывала в постель. Георг не сопротивлялся, молча подчинялся дочери, словно ребенок, утративший волю. А потом засыпал, уходя в глубокий, забывчивый сон, где, возможно, он хотя бы ненадолго находил покой.

Амалия только что устроилась на лавке под окном, штопая свои чулки, когда вдруг Георг неожиданно проснулся. Слез с кровати, подошел к дочери, мягко погладил ее по голове и тяжело сел рядом. Его лицо было изможденным, а глаза полны муки.

– Это ведь я вашу маму убил, – сказал он тихо, но так, словно каждое слово давалось с болью.

Амалия резко вскочила, выронив чулки и иголку. Наперсток с металлическим звоном отлетел от пола и закатился под стол.

– Ты что мелешь? – испуганно прошептала она. – Не дай бог младшие такое услышат. Иди, prospись лучше.

– Она осталась бы жива, если бы я, идиот, согласился тогда уехать в Америку.

Амалия понимающе вздохнула и, присев рядом, обняла отца:

– Кто же мог такое предвидеть?

– Твой дядька Генрих меня же предупреждал.

От отца пахло спиртным, но в рассказе чувствовалось, что его память не была пьяна...

Буквально сразу после революции немецкие поселения Поволжья заполнили агенты, так называемого переселенческого комитета. Они агитировали колонистов эмигрировать в США. Ни для кого не было секретом, что агитаторы представляли интересы германских Бременского и Гамбургского пароходств, которые хорошо наживались на перевозе пассажиров через Атлантический океан. Были среди зазывал и наемники крупных американских землевладельцев, которым так не хватало крестьянских рабочих рук для освоения их необъятных владений.

В доме Лейс тогда собрались многочисленные близкие и родственники. Пришлось даже две лавки из палисадника принести, чтобы все могли усесться. Рядом с Георгом расположились отец Иоганн и брат Генрих.

Представитель переселенческого комитета, желая положительно настроить собравшихся, улыбаясь дарил каждому ребенку по прянику. Чувствовалось, что он был хорошо подготовлен, так сказать, подкован в искусстве убеждения и понимал, что начинать это надо всегда только с приятного.

– Наше агентство имеет свои бюро в Саратове, на перевалочном пункте в прибалтийском Эйткуне и, конечно же, в самой Америке, – начал выступление мужчина с холемым лицом, – на всем пути следования мы гарантируем вам информационную и правовую поддержку, безопасный проезд на пароходе, обустройство и наилучшие перспективы для фермеров и ремесленников.

Половину из сказанного никто в комнате не понял. Даже дети перестали грызть свои коржи.

– Есть вопросы? – агитатор осмотрел собравшихся.

– А где находится этот Эйткун? – поинтересовалась бабушка Эмма.

– Правда, что на корабле всех тошнит? – скромно спросила жена Генриха.

Агент попытался ответить, но вопросы уже лавиной посыпались со всех сторон.

– По чем билеты?

– Сколько можно взять с собою багажа?

– Что за деньги в Америке и можно ли рубли там поменять?

Все говорили наперебой. Для убедительности постоянно кто-то считал необходимым встать или от несогласия демонстративно сесть, отчего и стоял неумолимый гул передвигаемых стульев и табуреток.

– Да что тут еще обсуждать, – громко прервал этот шум голос Генриха, – и так уже понятно, что надо бежать из России. Совсем не важно, во что это обойдется. Большевики вон царя и правительство свергли, кто знает, что с нами сотворят?

– И на кой черт мы им сдались? – усмехнулся Георг, обернувшись к сидящим за его спиной. – Мы ведь ничего плохого-то не сделали.

– А мы никогда и никому плохого не делали, – через голову отца нагнулся к Георгу брат Генрих, – но почему-то наше село уже в русское переименовали, закрыли немецкие школы. Забыл что ли? Гляди, теперь и немцами писаться запретят, фамилии на русские менять заставят.

– Не нагоняй на нас страху, – раздраженно выкрикнул Георг, – у тебя что, тоже память отшибло? Вспомни, как тридцать лет назад мюллерцы уже уезжали в эту Америку.

Все мгновенно замолчали. Столь печальную историю нельзя было забыть. Из семидесяти семей пятилетней эмиграции выжили и вернулись обратно в село лишь сорок человек. Но уже не с тем, с чем они отсюда уехали: пешие, с дубинкой в руках, с сумой на спине и без гроша денег. Семеро из них на обратном пути к тому же еще и ослепли.

– Так они же в Аргентину и Бразилию выезжали, – пояснил агент, – а мы вам предлагаем Северную Америку. Оттуда еще никто не захотел вернуться в Россию.

– А землю ваш комитет нам тоже предоставит? – как о самом важном спросил Георг.

– Бесплатно не раздаем, – честно признался агитатор, – но имеются льготные ссуды и налоговые послабления при обзаведении земельными участками.

– И зачем тогда, скажите, добрые люди, нам со своей земли куда-то ехать, чтобы там новую покупать?

– У вас тут не личная, а общинная земля, – со знанием закона поправил Георга агитатор, – и между прочим, большевики собираются ее между всеми крестьянами поровну поделить. Готовьтесь к тому, что многие из ваших полей отойдут соседней русской деревне. Там каждый второй безземельный бедняк.

– Да никто не посмеет у нас землю отобрать, – был уверен Георг, – у нас на нее все бумаги имеются.

– Ну вы посмотрите, что он о себе возомнил! – вскочил со стула брат Генрих и умоляюще протянул руки в сторону старика Иоганна. – Отец, может, ты ему объяснишь, что у царя этих бумаг и грамот побольше было. И что с того? Как собак в шею прогнали и царя, и его министров.

– Нам надо вместе держаться, – как бы невпопад произнес старейший из Лейс, вытирая платочком постоянно слезящиеся глаза.

– Я не собираюсь обсуждать политические вопросы, – агент счел необходимым вовремя закончить разговор, – мне всего-то лишь поручено объяснить вам преимущества переселения и помочь в оформлении необходимых бумаг.

Мужчина с холемым лицом быстро собрал и спрятал в портфель свои брошюры и, попрощавшись, скорым шагом покинул дом.

– А зачем большевикам и бедноте сдалась наша земля? – не мог уговориться Георг, обращаясь теперь только к брату. – Одни, городские белоручки, не знают, как ее обрабатывать, а другие, бездельники и попрошайки, не хотят этим заниматься.

– Пока не поздно, – удрученно промолвил дядя Генрих, – соглашайся, брат. А то боюсь я, что за твое упрямство твоим детям дорого расплачиваться придется.

– Большевики немцам автономию обещают, – успел крикнуть Георг свой последний довод вслед выходящему из дома брату.

Тот лишь отмахнулся в ответ...

Закончив свой рассказ, отец нежно взял ладонь Амалии, поцеловал каждый палец и скорбно произнес:

– Ведь господь же ниспослал нам Америку как спасение, а я отверг его благодатную руку. Ни за что я этого себе не прошу!

Несколькими днями позже ниже по течению Медведицы нашли его труп.

– Хороший был мужик, – скажет на похоронах старик-сосед, – вот только не по силу ему оказалось справиться с горем.

В семнадцать лет на хрупкие девичьи плечи Амалии свалилась нелегкая участь стать главой и кормилицей шестерых сирот.

Большевики сдержали свое слово. Немцам Поволжья в 1927 году предоставили АССР – Автономную Советскую Социалистическую Республику. Село Линёво-Озеро вновь стало называться Hussenbach. Поля, словно пережившие долгую зиму, снова начали щедро плодоносить. Беспощадную продразверстку заменили на в разы более низкие продналоги. Крестьянские хозяйства оживали, набирали силу, снова развивались.

Но только не у Лейс. В их семье попросту не осталось тех, кто мог бы обрабатывать землю. Средств на то, чтобы нанять работников, тоже не было.

Летом Амалии вместе с сестрами Марией и Эмилией приходилось наниматься на поденную работу к зажиточным односельчанам. Они жали хлеб, собирали картофель, выполняли любую тяжелую сельскую работу. Зимой сирот спасало рукоделие. Амалия, благодаря бабушке

Эмме, с детства умела кроить и шить. Швейная машинка, стоявшая в углу комнаты, стала настоящим спасением. Старшая сестра шила платья, халаты, рубашки и фартуки, вязала варежки, носки и даже теплые кофты. Все это продавали или меняли на еду.

Ради куска хлеба сестры нянчили чужих детей, стирали белье и мыли полы. Даже девятилетний Яша старался помогать. Каждый день он отправлялся к берегу Волги, собирал хвост и, надрываясь, приносил его домой для растопки печи.

От этой картины у Амалии сердце обливалось кровью. Но она убеждала себя, что это лучше, чем просить милостыню на паперти. Хотя даже от этого Господь их не уберег.

В начале тридцатых погода в Поволжье не подвела крестьян. Нельзя сказать, что обильно шли дожди, но и засухи не предвиделось. Но вот почему-то снова настал голод. Если до этого Амалия и так работала на износ, успевая поспать всего лишь по пять часов в сутки, стараясь накормить, как она теперь говорила, своих детей, то теперь хлеб стало невозможно ни купить, ни заработать. Он просто пропал. Грамотные односельчане винили в этом большевиков и их начавшуюся в стране коллективизацию крестьянских хозяйств. В селе Мюллер еще не было колхоза, но народ догадывался, что именно в этом, как говорится, собака зарыта.

Амалия не искала виновных, неистово и постоянно ломая голову над тем, чем накормить семью. Иногда от безысходности у нее настолько опускались руки, что просто хотелось залезть в петлю. Но, заглянув в огромные на исхудалых лицах потускневшие глаза детей, которые практически не отходили от стола, как бы боясь пропустить раздачу еды, старшая из сестер находила в себе силы и снова и снова бродила по полям округи, надеясь найти там оброненное зернышко или не замеченную при уборке картошину.

Однажды соседка, зашедшая их проведать, рассказала Амалии, что видела, как в воскресенье Рената стояла с протянутой рукой у католической церкви, а двойняшки Анна и Роза – у лютеранской. Женщина не осуждала, понимая, как тяжело приходится сиротам, поэтому принесла мешочек пшена и крошечный кусочек сала.

В тот вечер Амалия впервые и единственный раз ударила Ренату по лицу.

– Я не позволю позорить нашу семью! – выкрикнула она сдавленным голосом.

Рената молчала, лишь закусила губу и отвела взгляд.

После этого казалось, что в Амалии угасли последние остатки чувств. Из той девочки с красным галстуком, мечтающей о светлом будущем, ничего не осталось.



*Давид Лейзель и Амалия Лейс*

Вскоре Амалия горько пожалела о своем поступке. Осень 1932 года принесла еще одно потрясение. Рената нашла возле одного амбара в селе несколько початков кукурузы и, не задумываясь, съела их. Она не знала, что зерна были обработаны крысиным ядом. Девочку не смогли спасти.

В ярости и отчаянии Амалия рвала на себе волосы, рыдала, обнимая безжизненное тело сестры. Она винила себя за то, что подняла на Ренату руку, за то, что не смогла уберечь ее, за все, что происходило вокруг. Обезумевшая была готова голыми руками задушить хозяина амбара, но соседи удержали ее.

– Успокойся, это несчастье, а не злой умысел, – говорили они, пытаются утешить девушку.

Но Амалия не хотела слышать. Ей казалось, что мир вокруг рушится, что она потеряла еще одну частичку своей семьи, а с ней и себя...

В последнее время мимо их дома часто перевозили санки с умершими от голода односельчанами. Амалия даже не додумалась попросить соседей ей помочь. Она сама оттащила завернутое в белый холст тело Ренаты на переполненное кладбище. Разведя на маминой могиле костер и, дождавшись, пока земля оттаает, Амалия своими руками подхоронила сестренку к маме.

Мария и Эмилия в это время присматривали дома за младшими. Двойняшки Анна и Роза уже давно не выходили на улицу, а на днях вообще перестали вставать с постели. И как только сестры не пытались накормить их нехитрой похлебкой, изможденные голодом девочки отказывались принимать еду.

– Полная дистрофия организма, – обреченно произнес фельдшер, заглянувший в дом по просьбе соседей. – помочь уже ничем нельзя.

Через несколько дней двойняшек закопали поверх отца. И тоже без гроба, укутанных в половинки простыни с родительской кровати.

Амалия до позднего вечера просидела между свеженасыпанными могилами. Девушка уже, было, собралась идти домой, как у нее подкосились ноги, и она, рухнув на мамину могилу, неистово разрыдалась. Сильная, стойкая натура, но такие потери любой камень превратят в песок. Слезы бесконтрольно ручьями текли из девичьих глаз, а она лежала, не чувствуя ни холода, ни ночи, ни себя.

К двадцати двум годам Амалия успела похоронить семерых членов семьи. У нее невольно складывалось впечатление, что каждый год приносит лишь горе, а вся жизнь состоит из сплошных лишений и потерь.

Старшая Лейс тогда даже не могла предположить, что будет еще хуже и что ее семью ждут страшные потрясения...

\*\*\*

В дом постучали вечером. Настенные часы Лейс недавно променяли на пару бурячков, но Амалия по привычке посмотрела на пустую стенку.

– Должно быть где-то около семи, – промелькнуло в голове, – кто бы это мог быть в столь поздний час?

Гостей они уж точно не ждали. Вся семья в сборе сидела за столом и пила перед сном подобие чая: залитые кипятком высушенные на печи шкурки от свеклы.

Размышляя, что в такую стужу и мороз в их село чужие не придут, Амалия, даже не спрашивая, кто это, открыла дверь. Но этих людей она точно не знала. Первой в дом вошла женщина. Амалии показалось, что она была огромная как скала: в мужском широком овчинном полушубке и валенках. Ее сопровождали трое мужчин, тоже одетых по-зимнему. Двое из них держали в руках керосиновые фонари. Амалия разглядела на стекле клеймо в виде летучей мыши. Не каждый в селе мог себе позволить эти ветроустойчивые фитильные лампы, привезенные из Германии. Они имелись только у зажиточных односельчан. У Лейс тоже была одна, отец обычно брал ее с собой на рыбалку и охоту. Но Амалии в прошлом сентябре пришлось ее обменять на мешок початков кукурузы.

Женщина стряхнула с плеч и воротника снег, который непрерывно валил с утра и, осматриваясь, молча прошла мимо Амалии к столу, где в недоумении застыли трое Лейс. Затем, так же ничего не объясняя, она прошла в родительскую спальню. Амалия видела в проеме двери, как та аккуратно и даже нежно погладила стоящую там колыбель. Потом нежданная гостья заглянула в детскую и напоследок в третью комнату, где раньше спали бабушки. Вернувшись в гостиную, женщина сбросила с себя полушубок на стоящую под окном лавку. Все увидели ее огромный живот.

“Беременна”, – догадалась Амалия, да и ее сестры, наверное, тоже.

– Вы тут вчетвером живете? – спросила будущая мать старшую из Лейс.

Амалия лишь молча кивнула.

– Вещи собираем и освобождаем дом, – немного поразмыслив, добавила, – теперь он наш.

– Почему это наш дом стал вашим? – на плохом русском спросила Амалия, не готовая к такой наглости и не желающая верить в то, что это сейчас происходит с ней на самом деле.

– Здесь теперь будет управление колхоза.

– Подождите, что значит колхоза? А куда нам деваться?

– А это уже не наша проблема. Так что давай, собирайте вещички и проваливайте отсюда.

Широко расставив ноги, женщина устало уселась на стул, где еще недавно сидела Амалия. Взглянув лишь краем глаза на лежащие на столе рисунки Мартина, она небрежно смахнула их на пол. Простой карандаш укатился к ногам стоящих у двери непрошенных гостей. Один из мужчин поднял его. Йекель подбежал к тому и попытался вырвать свой карандаш.

– Отдай! – слабым голосом скорее попросил, чем требовал мальчик.

Вместо этого верзила дал ребенку подзатыльник, а карандаш положил себе в карман.

Амалия поспешила прижать брата к себе. Сестры молча переглядывались, оценивая ситуацию. Старшая сестра перевела на немецкий, что от них требуют эти люди. Конечно же, нужно было сопротивляться. Худая, высокая Амалия не боялась и подраться. Да и сестры давно уже были не подростками: двадцать один год и девятнадцать. Но девушки хорошо понимали, что силы не равны. Против трех вооруженных мужиков не попрешь. А громкоголосая беременная баба, казалось, по весу была тяжелее всей семьи Лейс. Против этого люда ни силой, ни словами им свой дом уже не отстоять.

– Wir müssen gehen, – разведя руками, Амалия печально произнесла в сторону домочадцев.

– Нам нужно идти, – с оттенком горечи повторила она по-русски, словно пытаюсь найти в этом больше решимости.

– Так, что встали-то? – громко обратилась новая хозяйка дома к пришедшим с ней мужчинам. – Давайте заносите наше добро. И чтобы к утру на доме плакаты повесили. Завтра начнем записывать крестьян в колхоз.

Одевшись, Амалия оглянулась. Брать им с собой нечего было. Все, что у них еще имелось, было надето сейчас на них. В сундуках и на полках шаром покати. Единственным богатством оказалась ручная швейная машинка. Переносная ручка отломалась, поэтому пришлось машинку в картофельный мешок засунуть. Яша помогал при этом Амалии, а та внутренне молилась: «Лишь бы ее не отобрали!»

Сестры, каждая для себя собирали в полотенце котомки.

– Давай, давай, пошевеливайтесь! – торопила их беременная командирша.

– Вы же сами скоро мамой будете, – вдруг решила надавить на жалость Амалия, – куда же нам деваться? На улице мороз еще какой! Даже если мы в амбаре или хлеву укроемся, то к утру на смерть замерзнем.

– В каком еще амбаре? – подбоченилась женщина. – Там будет наш склад, а в хлеву колхозная конюшня. Идите вон к соседям жить. Что у вас знакомых нет? Поди приютят.

– Да кто приютит? – умоляюще сложила ладони Амалия. – Все голодают, а нас четыре лишних рта.

– Я же тебе, девочка, уже объяснила. Это меня не волнует. У меня приказ, новая установка партии по созданию колхоза. Твой дом нам лучше всего подходит. Не могу же я в лачуге создавать штаб социалистического будущего вашей деревни.

– Может, хотя бы за печкой позвольте нам приютиться? Мы занавеску повесим. Нас никто не услышит и не увидит.

– Еще чего не хватало, чтобы вы у меня под ногами здесь бегали. Пошли вон отсюда!

– Да, вот он оказывается какой социализм, – сквозь слезы рассудила Амалия, взвалила на плечо мешок и, выходя на мороз, добавила, – светлое будущее бездомных сирот.

Уже на улице, оглядываясь по сторонам и все глубже закутываясь от холодного ветра в воротник, ее осенила мысль. Амалия вспомнила о погребе, который когда-то спасал их от пуль.

По глубокому снегу через огород семья Лейс гуськом поспешила на берег Волги. В винном погребе стояла сносная температура. Готовить пищу им было не из чего, поэтому и в этом плане можно было обойтись без печки. Но здесь чувствовалась сырость, и Амалия пожалела, что не прихватила с собой отцовский овечий тулуп, который всегда висел у них за печкой. Он бы им здесь очень пригодился.

Дав указание сестрам, собирать из деревянных ящичков топчан, набравшись смелости, Амалия одна снова вернулась в родительский дом.

Не обращая внимания на рассеявшихся за столом четырех захребетников — так покойный отец называл людей, которые живут за чужой счет или устраиваются поближе к власти имущим, Амалия молча прошла к печи и сняла висевший там тулуп. Новая хозяйка дома даже оробела от такой девичьей храбрости, но внешне вида не подала. Молчали и ее соратники.

Нахлобучив поверх пальто тулуп, Амалия на минуту задумалась. Она явно вспомнила о чем-то очень важном. С трудом протиснувшись между печкой и стулом, на котором сидела беременная женщина, старшая Лейс вытащила из родительской спальни детскую колыбель.

– Стоять! – не поднимаясь, стукнув кулаком по столу, заорала командирша, а один из мужчин вскочил и загородил девушке путь.

Готовая на все, Амалия схватила со стола чайник с кипятком, подняла и злобно крикнула:

– Щас ошпарю!

И уже обращаясь к беременной зашипела, четко и медленно выговаривая каждое слово:

– Люлька заколдована. Она уже второй век в нашей семье. Не советую класть туда чужого ребенка.

Мужчина, оставаясь стоять перед Амалией с распростертыми руками, вопросительно посмотрел в сторону своей начальницы.

– Да пусть забирает, – тяжело вздохнула и, поглаживая свой живот, произнесла будущая мать, – ну их к черту, этих немцев!

Амалия, не выпуская из рук чайник и таща за собой семейную реликвию, гордо вышла из дома и так хлопнула за собой дверь, что от неожиданности новая хозяйка даже подпрыгнула на стуле.

– Ух, какая боевая! – почесывая себе грудь, произнес ей вслед один, самый разухабистый комсомолец. – Горячая, должно быть.

Он как бы невзначай посмотрел в окно, проследив, в какую сторону направилась Амалия, оставляя за собой тянувшиеся по снегу следы от колыбели.

Поздно ночью, семья Лейс проснулась в подвале от громкого стука в дверь. Пьяные комсомольцы нашли их там.

– Открывайте, суки! – орал он наперебой, ломаясь в дверь.

В тот же момент раздался выстрел и зычный голос их командирши перекричал трех мужиков:

– А ну пошли отсюда! Быстро в избу!

По удаляющимся звукам скрипящего хруста снега под ногами можно было догадаться, что мужчины послушались начальницу. Громко посетовав на кобелей, женщина тоже удалась. За дверью стало тихо, но из Лейсов в эту ночь уже никто не смог уснуть. Еще теснее прижавшись друг к другу, они молили, чтобы скорее настал рассвет.

Им надо было бежать отсюда. Они понимали, что в этот раз их спасла эта женщина, но рано или поздно похотливые мужики снова попытаются достичь желаемого. Но никто из сестер не знал, куда им податься. На следующий день они нашли на берегу Волги и притащили в подвал толстое бревно, чтобы подпирать и так массивную дверь. Прихватили с собой и вооружились увесистыми поленьями.

Так, стараясь быть незамеченными, они прожили в подвале с горем пополам неделю, постоянно запирая за собой дверь.

А боялись они не зря. В один из вечеров – только начало темнеть – в очередной раз пьяные комсомольцы попытались ворваться в убежище. Грубый стук, перемежавшийся с пьяным хохотом и угрозами, разрывал тишину. И вновь их спасла беременная председательша. Прогнала мужиков.

– Открывайте! – хрипло крикнула она, тяжело дыша от возмущения и, возможно, усталости.

Амалия повиновалась.

– Знаете, красавицы мои, – начала женщина с порога, прижимая обеими руками огромный живот, – я тут не намерена вас больше караулить и защищать от этих кобелей. У меня своих забот хватает. Так что с глаз моих долой. Да побыстрей.

Убеждать их не пришлось. Семья Лейс за секунды собрала свои скромные пожитки и вышла из подвала.

На пороге Амалия остановилась и, оглянувшись, вручила председателю большой ключ от замка.

– Вот и ладненько! – недолго думая, пробормотала та, поворачивая ключ в руках. – Я здесь особо лихих и пьяных запираю буду.

Так в колхозе появилась тюрьма. Теперь пьяные комсомольцы, которые ранее наводили страх на всех, рисковали оказаться запертыми в подвале за свои выходки. Однако первым, кто будет заключен туда, окажется пастор недавно разрушенной лютеранской церкви. Католический же священник успеет сбежать и перебраться в Пруссию.

Вновь оказавшись без крыши над головой, поздно вечером остатки когда-то большой семьи Лейс сидели на берегу замерзшей Волги. Мороз был лютый, но деваться им было некуда. Мария, Эмилия и Яков, стараясь согреться, тесно прижались друг к другу под отцовским тулупом. Амалии там места не хватило. Она сидела немного в стороне, держа руки на краю колыбели, которую удалось забрать из дома. Руки судорожно тряслись, невольно покачивая люльку.

Девушка подняла голову и посмотрела в небо, усеянное миллионами звезд. Улыбнувшись сквозь слезы, удрученно прошептала:

– Не переживай, Анна-Роза, – обращаясь к умершей бабушке, как будто та могла ее услышать, – она же не пустая. В ней все, что осталось от нашего дома.

Где-то вдали завывала волчица. Ноги, руки и лицо ломило от холода. Сознание Амалии обожгла горькая мысль:

– А ведь могло бы быть совсем иначе! Согласился бы папа уехать вместе с Генрихом в Америку, то не изнасиловали и не зарезали бы маму. Не пришлось бы так сильно горевать бабушкам. Гляди, пожилы бы еще. Не сгубил бы себя отец. При живых родителях, наверняка, не умерли бы с голоду Рената, Анна и Роза.

Амалию клонило в сон. Зыбкая дрожь прошла, и по всему телу начало разливаться неизвестно откуда появившееся тепло. Ее глаза подернулись пеленой, а на ресницах повисли замерзшие капли слез. В полузабытьи ей представилось, как они гуляют по палубе белого парохода, который увозит их по бирюзовым волнам.

Отец и дядя по-праздничному одеты в рубашки из белого полотна с отложным воротником, на них черные галстуки, короткие жилеты с металлическими пуговицами и длинные желтоватые нановые кафтаны, которые почему-то назывались “городскими”, до блеска начищенные сапоги с голенищами поверх штанов, а на головах летние черные шляпы. Они в унисон весело напевают:

*Под окном стоят телеги пред дверьми,  
Мы едем с женами, с детьми!  
Мы едем в славную страну,  
Там столько золота, как песку!  
Тру-ру-мо-мо, тру-ру-мо-мо,  
Скорей, скорей – в Америку!*

Бабушки, мама и тетя, а также все девочки Лейс, как по воскресеньям в церкви, красуются в одинаковых шерстяных с красными разводами юбках. Поверх белых бумажных рубашек с длинными и широкими рукавами, собранными у кисти рук буерами, на них надеты короткие синие с блестящими пуговицами на шнуре душегрейки. Буфами в талии и вокруг шеи из-под этих корсажей выглядывали рубашки. У взрослых, плотно на шее висят белые или желтые бусы, которые мама называла кораллами. Головы девочек прикрывают вязаные чепцы, завязанные под заплетенными косичками, а у взрослых – под подбородком. На всех праздничные

белые кисейные с большими цветами фартуки и низкие башмаки без каблучков, надетые на вязанные белые, а у кого и синие, чулки.

Люди в черных фраках, накрахмаленных манишках и кипенно-белых перчатках угощают их кофеем и бельгийским шоколадом...

Из полузамерзшего состояния бреда ее вывели оглушительные выстрелы. Это под окнами их отчего дома беременная председательша с пьяными комсомольцами развлекались, празднуя создание колхоза «Путь Ильича».

– Vater! Was hast du uns angetan? – раздался беспомощный крик Амалии над занесенной снегом Медведицей... Если бы это могло перевести на русский: «Отец! Что ж ты с нами сделал?!»

Она закрыла глаза, пытаясь совладать с нахлынувшей болью, но внезапно почувствовала, что рядом кто-то стоит. Амалия подняла голову, и перед ней, словно из-под земли, возник парень, в котором она узнала сына деревенского кузнеца, Давида Лейзель...

Время бурь и бесхлебья

Это было небольшое, но добротное саманное строение, некогда принадлежавшее корнету, командовавшему взводом кавалерии. Его с подчиненными прислали в эти места во времена столыпинских реформ, чтобы следить за выполнением царского указа о заселении здешних угодий безземельными крестьянами из Новороссии и центральных губерний России.

Под жильем для кавалеристов были построены два каменных здания. Они располагались в непосредственной близости к железнодорожным путям, южнее здания вокзала, за водонапорной башней. Массивные постройки служили казармами для размещения драгунов.

После революции оба здания долго пустовали, но вскоре их переделали в многоквартирные дома для железнодорожников. Несмотря на это, старое название – «казарма» – навечно закрепилось за ними в народной памяти. Даже спустя десятилетия местные жители продолжали называть их только так.

Корнет, по натуре человек тихий и спокойный, решил поселиться подальше от военной муштры и суеты. Его выбор пал на маленький полуземлянный домик из сырца, который ютился на возвышенности вблизи спуска к реке. Ходили слухи, что прежде в подобных «хоромах» почивала семья местного бая Шукенова. Эти места с красивым видом на реку Илек, обрамленные белоснежными известняковыми берегами, так запали корнету в душу, что он решил остаться здесь навсегда.

С помощью бесплатной силы – своих подопечных солдат, – а также личного труда, он быстро построил себе небольшую усадьбу. Просторный дом, ухоженный двор с плетнем и садом, где раскинулись плодовые деревья, стал его убежищем. Когда дом был готов, корнет вызвал сюда всю свою семью и вскоре вышел в отставку, окончательно порвав с военной жизнью.

Говорили, что корнет жил здесь, наслаждаясь покоем и природой. Белые склоны реки Илек, зеркальная гладь воды и густые заросли вдоль берегов стали для него источником вдохновения и душевного уединения. Но времена изменились.

С приходом советской власти корнета, как и многих других зажиточных жителей, раскулачили. Его семью выслали в Сибирь, а его имя постарались стереть из памяти местных жителей. Дом, некогда полный жизни, опустел, а о его хозяине вспоминали лишь шепотом, словно боясь, что сама тень прошлого может вернуться.

Саманный дом корнета, с его высокими стенами и просторными комнатами, был построен на совесть, как символ богатства и положения своего владельца. Однако судьба распорядилась иначе. После раскулачивания дом передали под школу.

Внутри, в четырех комнатах, одновременно обучались дети всех возрастов. Первоклашки сидели на своих низеньких скамейках рядом с шестиклассниками, а старшие ребята часто

помогали младшим справляться с трудными задачами. Теснота и шум царили повсюду, но никто не жаловался – знали, что даже такая школа была даром.

Чуть на отшибе уже тогда возвышался одинокий карагач. Во дворе бывшего кулацкого дома стоял длинный сарай. Раньше там содержалось многоголовое стадо коров, овец и лошадей. Теперь жители Аккемира, объединившись, превратили его в дополнительные классы. Половину помещения отвели под спортзал. Именно там многие десятилетия подряд аккемирчане устанавливали новогоднюю елку. В темных, но таких родных стенах дети водили хороводы, а главным событием был момент вручения кульков с подарками. В каждом кулке лежал единственный мандарин – маленький, оранжевый, словно яркое солнышко посреди холодной зимы. Его вкус помнили долго, растягивая удовольствие на несколько дней.

\*\*\*

И снова, по вечному кругу природы, пришла пора весеннего пробуждения. Степь быстро и легко избавилась от толстого слоя зимнего снега. Как и всегда, в этом ей помогло яркое внуриконтинентальное азиатское солнце, которое, как будто намеренно, с каждым днем становилось все более горячим и уверенным.

Легкий ветерок, несущий запах влажной земли, играл с тонкими ивами, которые, словно зеленые нити, вытягивались вдоль берегов извилистой здесь реки Коктобе, которую местные почему-то чаще называли Ушкарасу. В переводе с казахского это значит «Три черные воды» — так степняки называли место слияния темных ручьев, дававших начало реке.

Да и с ивами была неразбериха. В поселковой советской школе ученикам преподавали ботанически правильное название, но стоило им вернуться домой после занятий, как там говорили по-своему:

— Піди нарви гілок верби! — просили родители с привычным акцентом новороссов...

Трель типичных для этих мест птиц воспевала приход весны, наполняя воздух живым звоном. Это был звук, который каждый раз поднимал настроение — нечто волнующее, чистое, обещающее обновление. Птицы, казалось, воскрешали саму землю своим пением, напоминая о ее невероятной силе восстанавливаться.

Степь неумолимо зеленела. Среди этого ожившего ковра растительности особенно выделялись бордовые стручки, словно проколы, взламывающие корку земли. Эти первые проблески весеннего обновления принадлежали туйетабану. Так местные жители называют всходы шренки и борщова — разноцветных тюльпанов, украшающих эти края.

Пока туйетабан выглядел сдержанно, почти скромно, но он таил в себе обещание. Еще немного, и его яркие, смелые цвета рассыплются по степи, как брызги радуги, внося в суровый и однообразный пейзаж оттенки радости. Такие мгновения заставляли даже самых занятых людей останавливаться, смотреть и восхищаться красотой пробуждающейся природы.



Полноводная река, омывая свои берега, все еще хранила прохладу зимней стужи. Ее воды не спешили согреваться, но жизнь в ней и вокруг нее уже начинала пробуждаться. На гладкой поверхности, отражающей раннее весеннее солнце, появились первые водоплавающие переселенцы с юга — утки и гуси. Они неустанно ныряли за пищей или лениво покачивались на слабых речных волнах.

Среди этих шумных пернатых выделялась величавая пара белоснежных лебедей. Их неспешные движения и грациозный вид словно нарушали общий суетливый ритм реки. Казалось, что сама природа пригласила этих птиц украсить весенний пейзаж своим присутствием, придавая ему нотку изысканности и спокойной красоты.

— Интересно, сколько ж в них того веса? — улыбаясь, вслух поинтересовался один из двух мужчин, стоявших у кромки воды. В его голосе прозвучал южнорусский говор. — Даниїл, поди, та одним лебедем усю твою многодетну ораву й накормим!

— Да буде тебе, Евдоким, — махнул в сторону собеседника второй мужчина, чуть постарше, с густым чубом и в вышиванке. Его голос был спокойным, но в нем слышалась легкая насмешка. — Такою-то красоту. А тебе только пожрать.

Глава семейства Симоненко усмехнулся, глядя, как пара лебедей, словно почувствовав разговор о них, грациозно отплыла подальше от берега.

— Краса красой, та яка ж з того польза? — не сдавался он, поднимая с земли плоский камень и лениво взвешивая его на ладони. — На хліб не намажеш, а лебідь — той же гусак, тіки більший.

Даниил бросил на него взгляд с легкой укоризной, но без злости.

— И то в тебе душа проста. Как та река: тече, да ничего не ховает. Не трож, хай плавають. Не всякая красота для пользы, Кимушко. Есть и для души.

За их спинами, на правом берегу, там, где степь встречалась с водой, раскинулось небольшое село Шевченко. Скромные белые мазанки - хаты, покрытые снопами из камыша и рогоза, тянулись в одну линию вдоль изгиба реки. Маленькие узкие оконца синих ставен казались глазами, зорко смотрящими на реку.

Палисадники возле хат были обнесены плетеными оградами из прутьев ивы ломкой или ивы козьей, которые местные жители теперь в тайне, под страхом сурового наказания по советским законам, все же продолжали освящать на Вербное воскресенье. Эти изгороди придавали всему поселению уютный и домашний вид. На кольшках, воткнутых вдоль плетней, красовались глиняные горшки, обожженные на скорую руку, но с любовью. Рядом, словно добавляя яркости, сушились вязаные ковровые дорожки — красные, синие, желтые. Они свешивались через ограды, как будто хотели позаимствовать немного солнечного тепла и степного ветра.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.